

Литературно-художественный журнал



ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Основан в 2001 году
при поддержке
Союза писателей России

Выходит ежеквартально

№2 (36) • 2018

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 3 **Сергей АДАМСКИЙ.** Стихи
- 9 **Наталья АЛЕКСЕЕВА.** Рецепт бигоса. Сказочка про орфографию. Влюбленный. *Рассказы*
- 14 **Лидия ЛЮБЛИНСКАЯ.** Стихи
- 20 **Алина ЧИНЮЧИНА.** Лили Марлен. Иван да Марья. *Рассказы*
- 37 **Ольга ПЕРЕВЕРЗЕВА.** Стихи
- 44 **Сергей ЮДИН.** Демоны Амастриана. *Повесть* Окончание
- 54 **Егор ПЕРЦЕВ.** Стихи
- 59 **Марина РЯБОЧЕНКО.** Тоска смертная. Просто жизнь, просто смерть. *Рассказы*
- 69 **Владислав САВЕНКО.** Стихи

ГОСТИНАЯ «ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

- 73 **Федор ОШЕВНЕВ.** Впервые на посту. Канатка. *Рассказы*
- 89 **Светлана ВОЛОДИНА.** Стихи

ПРОЗА. ДЕБЮТ

- 97 **Лариса ГОРДЕЙ.** Одна собачья жизнь, или Умка. *Рассказ*

ПЕРЕВОДЫ

- 101 **Юми КАЭДЭ.** Танец пылинок. Дневники (*перевод с японского М. Похиалайнен*)

Главный редактор –
Светлана Склейнис

Редакционная коллегия:
Александра Дашкевич (ответственный секретарь)
Виталий Дмитриев
Борис Орлов
Елена Первушина
Виталий Пинковский (зам. главного редактора)
Владимир Порудоминский
Татьяна Семёнова (зам. главного редактора)
Александр Скоков

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке ссылка на журнал «Изящная словесность» обязательна.



Сергей
АДАМСКИЙ

СТИХИ

* * *

Когда-нибудь, по лезвию ножа
Земную жизнь пройдя докуда надо,
Я соскользну частичкой листопада,
Над лужами бессмысленно кружа.
Обычный дворник заметёт следы
По мелочи растраченной эпохи,
А мы – малотиражные пророки –
Уйдём на склад забытой ерунды.
Там страшно тихо, тесно и темно.
Со всех сторон – бескрайнее болото;
И нет надежды, что однажды кто-то
Придёт ко мне, тем более – за мной.

EXEGI MONUMENTUM

полиэтилен гоним эстетамы,
но напрасно – дельный материал;
я себе завёл пакет с пакетами –
памятник основам бытия.
может быть, да мало ли, а вдруг – чего?
я никак покоя не найду,
а пакет лежит так незадумчиво:
форма с содержанием – в ладу.
он – мудрец, а я б и рад – да где уж мне!
многовато мусора внутри;
да к тому же – вечное безденежье
и – увы – хронический гастрит.
сложные вопросы с их ответами
портят сон и нервы теребят...
а в углу прилёг пакет с пакетами,
полностью познавший сам себя.

• **Сергей Адамский** – петербургский художник-график, писатель, поэт. Кандидат исторических наук. Руководитель студии интеллектуального творчества Студенческого дворца культуры РГПУ им. А. И. Герцена. Заместитель председателя правления Санкт-Петербургского союза литераторов. Член Издательского совета Санкт-Петербурга. Составитель сборника «Герценовский метроном. Война, блокада, победа в произведениях современных петербургских поэтов». Автор книг: «Котенок для Пигмалиона», «Заговор потребителей», «Алфавит художника» и трёх сборников стихов. Лауреат литературной премии «Петраэдр» (2018).

ХОЛОДИЛЬНИК

...в холодильнике пусто и (чудо) нескрытые шпроты;
в голове кавардак, суета, маета, чехарда;
наседают вопросы: к чему ты? зачем ты? и – что ты?
оседают ответы: ничто; ни к чему; никогда.
холодильник в ночи – словно рай из рассказов бывалых;
ослепительный свет и надежда на лучший удел;
ты стоишь полуголый в толпе из великих и малых
и немного дрожишь, потому что штаны не надел.
...а затем – достаёшь эти шпроты, берёшь открывашку;
закипающий чайник бормочет, как старый сосед;
надеваешь штаны и (на всякий пожарный) рубашку
и включаешь на кухне обычный – не ангельский – свет.
размышляешь о жизни; горчит (залежалые шпроты);
холодильник закрыт; ты сидишь без надежды на рай;
ты почти на краю; ты уже обесточен и смотан;
остывающий чайник задумчиво смотрит за край...

* * *

...шёл я как-то на исходе месяца,
где-то по девяткинским местам.
вижу: на берёзе душ повесился,
видимо, от жизни подустал.
может быть, не выдержал давления;
оказался слабым на разрыв;
вздернулся не ради представления –
просто как-то слился из игры.
лишним грузом, бесполезным фантиком
выпал так нелепо, сгоряча...
а возможно, был в душе романтиком,
о небесном искренне журчал;
видел мир в какой-то дымке розовой;
с жалостью смотрел на унитаз...
что же он на веточке берёзовой –
как фитиль оплёванный угас?
...душ висел так тихо, без движения,
одинок, оторван от корней.
это было – предостережение,
явно обращённое ко мне...

* * *

И все говорили, что время покажет;
И все говорили, что время рассудит;
И спорили громко; и ссорились в раже;
И прочь выходили; и в окна; и в люди;
И пили; и пели; и в вечность плевали;
И строки свивали из пепла, из пыли;
И вверх поднимались из грязи, из швали;
И судьбы ломали; и судьбы лепили;
И судьбы, как карты, сбивались в колоду;
И каждый хотел щеголять козырями;
И кто-то случайно угадывал моду;
И кто-то бессмысленно выл под дверями;
И верили рьяно – на старте, в начале;
И помнили дни; и теряли недели;
И «Время рассудит» – нетрезво ворчали;
И «Время покажет!» – по пьяни галдели;
И строили планы; и строили козни;
И казни казались началом разбега;
И делали имидж на росте, на розни;
И строили тюрьмы из кубиков лего;
И смирно сидели; и смирно стояли;
И странно старели; и падали странно;
И странно смотрелись в обшарпанном зале;
И внуки у гроба вещали о главном;
И клали цветы, словно на распродаже;
И всех целовали без лишних прелюдий;
И грустно шептали, что время покажет;
И важно пророчили: время рассудит;
И с тем расходились на автопилоте;
И шли разбазаривать время и силы;
И вязли в рутине; и вязли в работе;
И в срок заселяли пустые могилы.
И что же?
За время цепляются люди;
А время идёт и не парится даже:
Оно. Никогда. Никого. Не рассудит;
Оно. Ничего. Никому.
Не покажет.

НОМЕРУ 224

Номер 224 был присвоен трупу Уоллеса Хартли, когда его обнаружили среди жертв крушения «Титаника» в апреле 1912 г. Скрипка – подарок невесты – оказалась при нем. Уоллес Хартли был скрипачом и руководителем оркестра, который до последнего продолжал играть на тонущем корабле. В момент гибели Уоллесу Хартли было 33 года.

мальчик идёт со скрипочкой; маленький и смешной;
дождик стреляет в лужицы, градинки метят в лоб;
утром шутили взрослые: где современный ной?
будет же – наводнение! будет второй потоп!
мальчик читал из библии – выдержки для детей;
и о потопе вычитал – плакал потом навзрыд;
что ж этот ной? не справился? или – не захотел?
только по паре – мало же! мальчик весьма сердит;
он недоволен библией: «что этот ной – дурак?
не рассчитал с размерами? не обсудил с женой?»
мама целует мальчика: «всех не спасти никак...
всех не спасти, мой глупенький; всех не спасти, родной...»
мальчик растёт и учится; мальчик теперь скрипач;
время – условно мирное – перед большой войной;
мальчика носит по миру: «мамочка, ну не плачь!
это же чудо техники! всё хорошо со мной!
тут у меня товарищи – сыгранный коллектив;
на берегу любимая – честно и верно ждёт;
на океанском лайнере – множество перспектив!
знаешь ли, как под звёздами чудно искрится лёд?
вот бы – сфотографировать! вот бы...»
удар в ночи...
...против потопа выступил, скрипку держа в руках;
мальчик плывет со скрипочкой...
в небе господь молчит;
«всех не спасти, мой глупенький, всех не спасти никак...»

* * *

А. Г.

И однажды ты сможешь увидеть зелёный лес
В безнадежной тиши по-зимнему злых берез;
В этом мире, не приспособленном для чудес,
Чудеса происходят в отместку, вразрез, вразброс,
В назидание, в память, во славу, во имя, в честь,
По причине, но чаще – без всяких причин на то –

Чудеса происходят. Возможно, поскольку есть
Вероятность. Как нужный номер достать в лото.
Ты однажды услышишь нежный морской прибор
В озабоченном топоте тысяч угрюмых ног.
Улыбнёшься и станешь просто самой собой,
Отыскавшей свою в лабиринте чужих дорог.
Всё выдавший трактирщик будет суров, но мил;
Усмехнувшись в усы, наполнит без слов бокал:
Благодарностью к тем, кто честно тебя хранил;
Благодарностью к тем, кто сдуру тебя бросал.

* * *

Подойду и скажу: «Здравствуй».
Не сейчас. Погодя. После.
Как-то людно. Народ разный.
Тот развязный, а этот – рослый.
Где-то скрипка. А здесь – гитара.
Кто-то умер, а кто-то выжил.
Выясняем у двери бара,
Кто тут лишний, а кто тут рыжий.
Опоздание – словно эхо;
Искушение шепчет в ухо.
Отступление ради смеха
Над собой. Под ногами сухо.
«Я пройдуся». Безупречный вечер:
Людный Невский и чёрный чай.
Ты невинна, а я – не вечен;
Подойду и скажу: «Прощай...»

* * *

Доброй осени.
Вместо вечера будет ночь.
Вместо паузы будет просто последний раз.
Обстоятельства – это если не превозмочь
Недосказанных или (напротив) излишних фраз.
Доброй осени.
Вместо сахара будет соль.
Вместо зелёного будет стандартный чай.
Обязательства – это когда отпускает боль,
Потому что родные сумели найти врача.
Доброй осени...
Вместо целого будет часть.
Вместо любимого будет ни то ни сё.
Одиночество – это чтобы поплакать всласть,
Понимая, что больше ничто уже не спасёт.

* * *

сегодня с неба падал пенопласт;
весна опять отсрочена, похоже;
кто любит, обязательно предаст,
и кто не любит, вероятно, тоже.

не будет прямоты и чистоты;
необходимость жизни – под вопросом;
схоронятся надежды и мечты
под крошевом безликим и белёсым.

весна, увы, совсем не задалась;
присыпан город – от мышей? от крыс ли?
мы говорили вроде бы о нас,
но в бесконечно переносном смысле.

мы – словно одержимые – спешим
и хвастаем накопленным пробегом,
надеясь, что колдобины души
весна прикроет мерзким мелким снегом...

РЕЦЕПТ БИГОСА

Дело было в прошлом году. Я собралась готовить бигос. Потому что вспомнила: едала я в Польше у троюродной тётки такой бигос, что ни в одном ресторане не подадут. Капусту нарезала, кусок свинины вытащила из холодильника, сосиски копчёные положила поближе. И уже хотела начать готовить, как вдруг поняла: я совершенно не помню, что и в каком порядке нужно класть. Можно было, конечно, залезть в Интернет и выудить оттуда штук двести рецептов. Но мне так захотелось именно того бигоса, который был в Польше, весной, в Кракове, когда за окном было ослепительное солнце и впереди ещё десять дней восхитительных каникул.

Я нашла номер телефона и позвонила той самой троюродной тётке. Она, конечно, обрадовалась моему звонку. И закричала куда-то в сторону, противоположную от телефона: «Яцек! Наташка звонит. Какая-какая! Да с Пэтэрсбургу!» Голос тёткиного мужа тут же радостно где-то забасил: «Честь! Наташка!» Я сразу к делу: «Тётя, дай мне рецепт твоего бигоса!» Тётка: «Конечно, дорогая! Сейчас найду. Он у меня тут записан был где-то. Уж на память не надеюсь. А пока я ищу, Расскажи-ка мне, как у тебя дела!»

Я рассказываю про дела, и тут тётка вопит мне в телефон: «Ой, а какую я фотографию-то сейчас нашла! Ты с нашим маленьким Кшисем, у вас в Пэтэрсбурге! Помнишь, мы приезжали когда-то к вам. Ты тут такая весёлая, с бантом! Ой, а Кшись-то наш женится. В этом году. Невеста его Магда, ну ты её знаешь, ну такая красавица! Яцек! Я Наташке про Кшися рассказываю, что женится он у нас!» «Ага!» – басит Яцек в глубине дома.

Я держу карандаш наготове, ведь нужно записать рецепт бигоса, но тут где-то рядом с тёткой раздаётся трель мобильного телефона. И тётка радостно кричит мне: «Наташка! Не клади трубку! Тут Кшись как раз звонит!» И продолжает уже с Кшисем: «Привет, сыночек! А я тут с Наташкой разговариваю! Да-да с Пэтэрсбургу!» И тётка снова кричит мне в трубку: «Кшись тут спрашивает, не рядом ли ты с компьютером?» Я: «Рядом, тётю, рядом!» Тётка снова радостно: «Кшись тебе сейчас в скайп позвонит. А я трубку класть не буду. Втроем поговорим!» Мы соединяемся с Кшисем. Я вижу его на экране, и мы начинаем болтать.

• **Наталья Алексеева** – писатель, поэт, переводчик, психолог. Автор нескольких поэтических сборников. Её рассказы переведены на польский и немецкий языки. Член «Объединения русскоязычных литераторов Финляндии». Живёт в Петербурге.

Кшись зовёт к компьютеру невесту Магду. И теперь мы разговариваем уже четвером: тётка, Кшись, Магда и я, а ещё иногда в глубине дома мы слышим Яцека.

Магда показывает мне в веб-камеру своё свадебное платье и фату, Кшись – парадный костюм. Потом они вместе показывают мне своего щенка. Щенок грызёт кнопки их ноутбука и смешно лижет экран. Мы дружно смеёмся.

Я пытаюсь вернуться к цели звонка и снова говорю одновременно в телефонную трубку и в скайп: «Так дайте же мне, наконец, рецепт бигоса!» Тётка кричит в трубку: «Наташка! Не могу никак найти этот рецепт. Ищу! Подожди!»

Кшись спрашивает по скайпу: «Какой рецепт? Мамин рецепт бигоса?» Тётка кричит ему в мобильный телефон: «Да! Бигоса! Не могу найти!» Кшись говорит: «Так тётя Митя готовит его так же, как и ты! Я ей позвоню сейчас по другому телефону, не отключайтесь!»

Кшись набирает номер тёти Мити и говорит: «Тётя Митя, тут Наташка с Пэтэрсбургу звонит, просит рецепт бигоса, который ты готовишь!» Тётя Митя тоже кричит радостно Кшисью так, что я слышу: «Кшись! Передай Наташке привет! Спроси у неё, как мама, как бабушка, как там все наши? Я сейчас поищу рецепт! Вот он! Записывай: взять капусту, 300 грамм свинины, домашние копчёные колбаски... Ой, слушайте! Так ведь Павел наш завтра летит в Пэтэрсбург по делам! Наташка может с ним встретиться!» Кшись мне говорит: «Ты всё слышала, да?» «Да!» – радостно отвечаю я. «Конечно, я встречу Павла! Дайте ему мой номер телефона, а мне – время рейса и номер его мобильного!»

Кшись говорит тёте Мите: «Тётю! Дай нам номер и время рейса и телефон Павла!» Тётя Митя кричит Кшисью: «Кшись! Не вешай трубку! Сейчас я позвоню Павлу и всё выясню!» Тётя Митя звонит Павлу и кричит ему: «Тут Наташка на проводе! Да-да! Из Пэтэрсбургу! Она тебя завтра в аэропорту встретит, скажи номер рейса!» «Наташка! Записывай: двести тридцать девять, Варшава–Петербург, одиннадцать пятнадцать по вашему времени. Записала? Хорошо! Ой, ну тогда побежала подарки покупать! Павел их в Петербург и отвезёт!» Я кричу: «Кшись, скажи тёте, чтобы не беспокоилась о подарках!» Но тётя Митя уже отключилась, забыв про бигос. Кшись и Магда тоже спешно прощаются со мной: они тоже хотят успеть вместе с Павлом передать моей семье маленькие подарки и бегут по магазинам. Моя троюродная тётка тоже мне кричит в телефон: «Наташка! Я ведь когда-то тебе обещала купить нашего удивительного мёду! Побегу куплю, ещё успею. До свидания, дорогая!»

Я возвращаюсь на кухню, задумчиво смотрю на приготовленные продукты, а потом решительно засовываю назад в холодильник капусту, кусок свинины и копчёные сосиски и тоже бегу в универмаг, чтобы купить что-нибудь родне и передать вместе с Павлом!

Придя домой, раскладываю маленькие подарки по красивым подарочным коробочкам, потом быстро жарю яичницу, съедаю и ложусь спать. Ведь назавтра мне предстоит встреча с моим весёлым четвероюродным братом, и для того чтобы много смеяться, потребуются силы.

Ночью мне снится свадьба Кшисья, щенок, доедающий ноутбук, троюродная тётка с мужем Яцеком, Павел с чемоданом и целые горы бигоса, рецепта которого я в тот день так и не узнала. Зато я узнала гораздо больше: мои польско-русские связи крепки как никогда!

СКАЗОЧКА ПРО ОРФОГРАФИЮ

Как сейчас помню, был 1983 год и я ходила во второй класс. На продлёнке в небольшой комнате сидели сорок советских детей, готовящих уроки к завтрашнему дню. Были те, кто тем зимним вечером делал это тихо. Другие учились громко, вовлекая в процесс не только одноклассников, но и широкую общественность.

Широкую общественность представляла собой наша уборщица – харизматичная тётя Люся, которая присматривала за детским муравейником, пока учительница меряла в туалете сиреневую комбинацию (разведданные предоставлялись компанией старшеклассниц). Пока мы, дети, не начали делать русский язык, выходок с нашей стороны было немного. Но потом кое-что произошло. Нам задали упражнение по русскому языку, в котором надо было правильно написать названия столиц союзных республик. Дело это меня увлекло. Названия некоторых столиц невозможно было выговорить, не то что написать. Но встречались и такие, писать которые было полным удовольствием. Например, Минск, Киев или Таллин (в ту пору Таллинн писался с одной «н»).

Я, мирная девочка с розовыми бантами, сидела за партой вместе с одноклассницей Леночкой и выводила в тетрадке заветные слова. И вдруг я увидела, как моя одноклассница хладнокровно выводит слово «Талин» с одной «л».

Внутри меня что-то оборвалось, грохнуло и покатилося. И я, себя не помня от гнева, толкнула Леночку локтем и строго так сказала: «Таллин» пишется с двумя «л». Одноклассница проигнорировала моё замечание и продолжала писать на доске: *Алмота, Кешенев, Боку, Ериван* и ещё что-то.

Прямо-таки заикаясь от злости, я попросила её всё это зачеркнуть и написать ещё раз, но правильно. В ответ Леночка смотрела не меня, не мигая и не соглашаясь.

В этот момент чувство чужой неправоты и жалость к русскому языку вспыхнули во мне ослепительно. Не помня себя, я вцепилась зубами в руку мятежной одноклассницы где-то в области запястья.

И тут началась кутерьма: кровь ручьём, беготня, вызов врача, возмущение широкой общественности, вопли, ругань, возвращение учительницы из туалета, приход родителей моей жертвы и вознесение директора школы с первого на пятый этаж...

Репрессии последовали незамедлительно. Порка дома и общественное порицание в школе. Но мне было жалко одноклассницу Леночку. В конце концов, она не ведала что творила...

С тех пор прошло много лет. И я со временем поняла, что мой метод борьбы за чистоту письменной речи не подходит для широкого применения. Потом, работая учителем русского языка, этот метод я, честное слово, и не использовала.

А пару лет назад я встретила её в театре. Она прогуливалась по фойе с молодым человеком олигархической наружности и выглядела по меньшей мере довольной. Меня она узнала и сразу кинулась целоваться. Я обрадовалась, потому что все последующие годы обучения в школе лёгкое ощущение неправоты частенько меня посещало.

И знаете, что она мне показала через минуту после дружеских поцелуев? Шрам на запястье! Но не просто шрам. А шрам, украшенный браслетом. Браслет, в свою очередь, сиял камнями, смутно мне что-то напоминавшими. Камни мне напоминали бриллианты. Ими они и оказались. Просто Эдик (Леночкин жених) целую ночь переживал над запястьем возлюбленной, узнав трагическую историю белоснежной ручки, а наутро украсил её ювелирным совершенством, по стоимости равным Боингу.

Спросите, в чём мораль этой истории? Я и сама не знаю. Но утверждать точно, что надо учить орфографию, не берусь...

ВЛЮБЛЁННЫЙ

Каха влюблён.

Но он на работе. В Петербурге. Возлюбленная осталась дома, в Грузии.

Он печёт лаваш и хачапури. За день он вымешивает сотню килограммов теста. Смешивает ингредиенты деревянной лопаткой и потом ласкает тесто руками. Сначала нежно. Потом сильнее и сильнее. Тесто с каждой секундой всё больше походит на сочную мякоть женского тела, и руки Кахи наполняются природной, изначальной страстью. Женщины-посетительницы не дыша застывают на месте, глядя на него. Но Каха смотрит не на женщин, а на свой телефон, лежащий в дальнем углу, на единственном чистом месте, где нет муки.

Кухня открыта для обозрения. Так придумали хозяева ресторана, находящегося на последнем этаже торгового центра-небоскреба. То, что делается на кухне, видно всем. Строгие грузинские женщины, подбоченясь, следят за шкворчащими на сковородах чашушули и чахохбили. И Каху с его пекарским уголком, тестом, страстью и телефоном тоже видно.

У Кахи живое лицо: большой открытый лоб, прямой греческий нос, пухлые губы, густые брови. Они придают лицу Кахи одухотворённое, детское и при этом мужественное выражение. У него белая рубашка, вроде той, что русский крестьянин надел бы после бани, и холщовые белые штаны. В просвет между рубашкой и штанами иногда выглядывает его голое тело – смуглая кожа, поросшая чёрной медвежьей шерстью. Он простой, сильный и настоящий. Словно сошёл с грузинской чеканки.

Он месит тесто и смотрит на телефон. Кладёт хлеб в печь и смотрит на телефон.

Самому ему звонить нельзя. Начальство не разрешает. А если звонят ему, то говорить можно. Вдруг мама или дед. Старших нужно уважать. Нельзя не ответить.

И вот телефон звонит. Глаза Кахи вспыхивают нездешним светом. Лицо светлеет, и тело наполняется невероятной силой. Эту силу видно даже сквозь его белые одежды. Он резким движением сбрасывает тесто с рук. Словно орёл всплещивает крыльями, проверяя их перед тем, как взмыть в бездонное небо. Хватает полотенце. Ловко, двумя точными хлопками, стряхивает с себя муку – с правого бедра и с левого. От этого вокруг него взлетает белое облако. Затем быстро вытирает полотенцем руки. И одним прыжком, как барс, оказывается рядом с телефоном. Ласковым движением поднимает его, нажимает кнопку громкой свя-

зи и несет – бережно и невесомо – на раскрытых ладонях, как сердце. В сторону огромного, во всю стену, окна. Из окна на него обрушивается и небо, и солнце, и кусочек моря, и деревья. А из телефона – льётся мелодичный, как чистый ручей, женский голос. Через мгновение Каха ответит той, чей голос сейчас смеётся, как небесный колокольчик. Каха трепещет. Широкая улыбка, совершенно ему неподконтрольная, досадная, мешает говорить. Он решительно стирает её размашистым, мощным движением руки. Делает паузу. И отвечает любимой.

Они разговаривают. Долго. Его голос бархатно рокочет, как гром далёкой грозы в горах. Её – вторит нежной свирелью. И всё это время Каха держит на раскрытых ладонях раскалённый, как сердце, телефон. За огромным, во всю стену, окном, закат окрашивает в красное дома, деревья, траву и кусочек моря. И облака, которые, если зажмуриться, очень похожи на горы.

Лидия
ЛЮБЛИНСКАЯ

СТИХИ

* * *

С раскрытой книжкой Бродского в руке,
Как с бомбою, трясусь по Петербургу.
В колени чья-то трётся чернобурка,
И чей-то зонт стоит на башмаке.
И кажется, что сотни злобных глаз
Жгут профиль примелькавшийся поэта,
Которого судили как-то где-то
И выслали, чтоб не позорил нас.
Вон женщина, поджавшая губу,
Вон тот, что перегаром дышит сбоку,
Вон этот с выражением убогим, –
– Не вы ль, его вершившие судьбу?!
Не вы. Не мы. И виноватых нет.
Пространства нет и времени былого.
Но так же под прицелом мысль и слово
В моей больной несправедной стране.

* * *

Француженок в дворянские дома
К особам юным приставлять боялись:
А ну как чужестранского ума
Поднаберётся дитятко... Едва ли

Взрослеющее сердце не вскипит,
Касаясь тем исконно деликатных,
Покуда тятя благостно храпит
За стенкою и рдеет свет закатный.

Назойливо грассируя, журчит
В локатор ушка детского крамола:
Пылают щёки и спешат врачи
К подростку занемогшему. Ментолом,

Отваром из пустырника и трав
Отпаивают, каплют бром в рюмку,
Шушукаются мамки до утра,
Весь дом стоит на цыпочках, по струнке.

• **Лидия Люблинская** – коренная петербурженка. Филолог. В прошлом редактор издательства. Ученица Глеба Семёнова. Две книги стихов, журнальные публикации. Лауреат международного конкурса «Согласование времён» (лонг-лист, 2010). Член Международной федерации русскоязычных писателей.

И прячутся промокшие в слезах,
Затиснутые в лиф Руссо со Стерном,
Расчёт француженке! И стерву шлют назад.
Выписывают даму из Люцерна

Или из Базеля, швейцарку строгих лет
Без модного прононса и без дури,
Чтобы вплетая петельку к петле,
Отстукивала такты в партитуре.

Доволен будет тятенька тогда,
Любуясь на свою отроковицу
За клавином. Кабы без вреда –
Ах, всё заезжим нехристям простится!

* * *

Продаются панельные стены, затоптанный пол,
Потолок высотой в три руки, невысокие окна,
На пустырь выходящие, где ежеутренне мокнут
Волонтёры собачьи, где летом гоняют в футбол.
Продаются шкафы, что вселясь больше века назад,
Еле втиснувшись боком в проход узколобий квартиры,
Разместили в себе все премудрости этого мира:
В переплётах потёртых и мысли его, и глаза.
Предаются традиции: старый семейный уклад,
Многорядность быта ушедших его постояльцев,
Вся обрядность его – чтение вслух, вышивание на пальцах;
Пироги и гербарии, звонкий верстак ремесла.
Отдаются балконные голуби, моль, унитаз,
Бодрый голос трансляции, чай со свистком и соседи,
Костыли, абажур, Пушкин гипсовый, пара медведей, –
Забирайте, живите. И будьте счастливее нас.

* * *

Мы солим огурцы, те возводят дворцы.
Нам забвенью, им вечная слава.
Белой кости – хвала, чёрной кости – хула.
Над землёй перезвон семиглавый.
Ворониха плетётся с подбитым крылом,
А вослед ей товарки шипят: «Поделом»,
И добить её рвутся старухи.
А до славы посмертной ли ей на земле?
Клюв зажав, дотащиться на рваном крыле
И в кусты завалиться на брюхе.

Да и вправду, не грош ли ей, славе, цена?
Дутой рифмой бренчит на ветру бузина,
Сиплый поп Аллилую выводит...
По закону живём – в стойле жвачку жуём,
А по совести – души на плаху кладём
И изгоями по миру бродим.

* * *

Революционер... Это не про меня. Увольте.
Обыватель и тем горжусь. Ни влево, ни вправо
Не позволю качнуться мысли: везде отравы.
Наигралась в прошедшей жизни. Теперь довольно.

Как Гораций, покинуть шумный парад столицы,
Поселиться в сельской глуши и сажать капусту.
Никому ни за что не пенять, не вредить, не злиться,
Наконец-то найти часы для долгого Пруста,

Для прогулок неспешных вдоль просек, лугов, оврагов,
Для общения с небом, распятым шире обзора,
Перекрыть трескучий эфир и видеодракул
И настроить слух на вечерний распев трезоров.

Посреди планеты под линзой ночного неба
Ощутить себя инфузорией мироздания...
Век за день промчался, как будто не был,
Сердце в горле бьётся, как в час свидания.

* * *

Старинных сестрорецких дач
Снегами скрытые фасады.
Ни человеческого следа,
Ни отдалённой канонады.

Окрестность в сон погружена,
Лишь снег скрипит под сапогами,
И леса хрупкая стена
Сродни искусству оригами.

Здесь заморожена вся кровь,
Бурлившая два века в жилах:
Не растопить вязанкой дров
Души дремучей старожилы.

И даже музыка ушла
С поверхности под лёд залива
И там, звеня неторопливо,
Живительного ждёт тепла.

* * *

На чёрные, снегом укрытые кроны
С белёсых небес опустились вороны.
Чернели двенадцать заоблачных тел,
И ветер с залива над ними гудел.

Все клювы направлены были на юг,
Хвосты опереньем к заливу.
Скрипели стволы, и мерещился звук
Холодный, унылый, пугливый.

Внезапно как будто бы подан был знак
Незримый откуда-то свыше,
Сорвались двенадцать ворон, как одна,
И разом взлетели на крышу.

И графики зимней чертя полотно
Из крон заметённых и снега,
Сгрудились вороны в живое пятно
И правят империей с неба.

* * *

В глубоком обмороке город в ноябре,
А тут вдруг – плюс и мягкая погода:
И каша снежная не валит с небосвода,
А тёплый дождик льётся на дворе.

И можно не напяливать поверх
Одной фуфайки тёплой две другие,
Сбежать по лестнице в объятия стихии
Вечерней улицы и просочиться в сквер.

Молчит фонтан. Заглушен до весны.
Не обдаёт весёлой водной пылью:
Высокой властью выключен рубильник,
И чаши каменной уста обнажены.

Адмиралтейства башенная тень
Над садом опустевшим нависает,
И кроны ветер западный терзает.
Синоптики готовят бюллетень

Неутешительный, со снегом и дождём,
Волной высокой, немощным давлением, –
Вполне себе обыденным явленьем
Для города, в котором мы живём.

Пока ещё фонарные огни,
Мерцающие в чёрной колыбели,
Раскачивает Мойка, мы успели
Затишьем насладиться. Сохрани ж

Пока ещё не стёрся этот миг,
Внеси на жёсткий диск в земную память
Как этот воздух пили мы губами,
Вприкуску ломтик неба отломив.

* * *

В чистилище вступаем на земле
Лет с сорока, родителей теряя,
Когда души частица умирает,
Как меркнет свет, блеснувший в феврале.

Потом идём наматывать круги,
И Дантов Ад не кажется нам страшен,
Гравюрами Дорэ поразукрашен.
Пожалуй, ужаса в нём меньше, чем тоски.

А что до Рая – он тосклив вдвойне:
Как в резервации душа, как в паутине.
И тонет слух в небесной каватине.
Движенья нет. Желаний тоже нет.

Так наугад бредём, стада слепцов,
Прощупывая почву на три шага.
Что ждёт нас – пропасть, омут ли, коряга, –
Не ведаем. Лишь ветер бьёт в лицо.

* * *

Полотнище неба. Январский рассеянный свет.
Угрюмая даль горизонта от края до края.
Залив не промёрз. По песку литературовед
Бредёт между наледей, стёкла очков протирая.

Бредёт и бормочет, прервётся и снова бубнит,
То радостью вспыхнет, то вновь погрузится в немоту.
Накатами ветер в сосновых вершинах звенит
С ритмичным упорством ведя заунывную ноту.

Взлетают и хлопают фалды плаща на ветру,
Полощутся раструбы брюк и срывается слово,
И вброд литературовед переходит Сестру,
Идя вдоль залива за Дюны в приют Комарово.

Там близкие души, которых давно уже нет
И чьи имена в словарях и на стилом граните,
А он всё живёт посреди отпылавших планет,
Отторгнутый небом участник, свидетель, хранитель.

СТИХИ О МОСКВЕ

Из проливного Петрограда
Влетим мы в ясную Москву,
Она блеснет нам как награда
Синейшей фреской наяву
И закружит нас переулков
Той каруселью скоростной,
Где будет сердце биться гулко
(Ах, вся Москва – бульвар цветной).
А на холмах твоих палаты
Качаются и терема,
Сверкая серебром и золотом,
Сводя приезжего с ума;
Слепит реклама, рвутся лофты
До поднебесья, в облака,
Церквушечки-черноголовки
Гудят в раздутые бока.
Москва, священная столица,
Твоя, Россия, Божья Мать,
Твоя шальная кобылица,
Хребет которой не сломать,
Твой дух расхристанный, сермяжный,
Твоя отвага, благодать –
По переулочкам Лебяжьим
Лобастых гениев рождать,
Поить их говором предместий,
Ночной прохладой площадей,
Хранить от подлости и лести,
Гаргантюэлевых затей;
Прощая им недуги роста,
Шепча утешные слова,
Взирать, как катится с помостов
За голову – голова.

Алина
ЧИНЮЧИНА

РАССКАЗЫ

ЛИЛИ МАРЛЕН

Елизавета Максимовна – милейшая, добрейшая, деликатнейшая старая дама. Именно дама, назвать её старухой не поворачивается язык: несмотря на свои восемьдесят четыре, она бодрa, весела, активна и заткнёт за пояс многих сорокалетних. Елизавета Максимовна носит светлые пальто, шляпы и яркие платки на шее; губы всегда подкрашены бледно-розовой помадой, седые локоны уложены, глаза искрятся любопытством. Каждый день её расписан едва ли не по минутам – подруги, прогулки по городу, общество ветеранов, внуки и правнуки, концерты и выставки... сидеть на лавочке у подъезда ей просто некогда.

Елизавета Максимовна – бывший библиотекарь, если они вообще бывают бывшими. Каждое утро её начинается книгами, и ими же заканчивается день. Читательские конференции, встречи с авторами, вечера поэзии или прозы в районной библиотеке начинались когда-то с её легкой подачи, а поскольку заканчиваться не собираются, то она – неперемный участник большинства таких сборищ.

Внуков у неё шестеро, а правнуков – только трое. Пока. И все они бабушку и прабабушку обожают. От неё никогда не услышишь «что получил сегодня по математике?», но часто – «булочку с молоком будешь?», или «через месяц выступление рок-группы NN, через общество ветеранов распространяют билеты, тебе взять?», или «позвонит тебе Ванечка, вот увидишь, у меня глаз верный, такую красавицу, как ты, он не упустит». Пирожки Елизаветы Максимовны, будем честны, не всегда такие же пышные, как пирожки соседки-мужа-моей-третьей-жены, но обязательно лежат на красивом голубом блюде, подаренном ей в пятьдесят восьмом покойным мужем. Младшая внучка, семнадцатилетнее создание с выкрашенными в зелёный цвет дредами, тремя кольцами в ухе и татушкой на правом плече, заявила однажды, что лучших бабушек просто не бывает, – а это что да значит.

Елизавета Максимовна хорошо спит по ночам. Но иногда, совсем иногда ей снятся плохие сны.

• **Алина Чинючина** – прозаик, журналист. Лауреат ряда литературных конкурсов («Южноуральская книга», «Литературная премия им. Б. Ручьева», «Южноуральская литературная премия» и др.). Участник Всероссийского совещания молодых писателей (2007). Автор двух сборников прозы – «Осенние сказки» и «Казнить нельзя помиловать» (2010). Живёт в г. Магнитогорске. Работает школьным психологом.

Ко всему на свете Елизавета Максимовна относится легко. Идет дождь? – завтра обещают солнце. Промокли сапоги? – выпей горячего чаю и ляг под плед с хорошей книжкой. Задержали зарплату? – проживём, у меня ещё две десятки заначено. Болит голова? – сходи погуляй. Выговор на работе? – брось, через месяц все забудут. И удивительно, но голова-таки перестает болеть, деньги находятся на следующий день в зимней куртке, которую собираешься сдать в химчистку, а мокрые сапоги и выговор обходятся без последствий. Как у неё это получается? Загадка.

Злые языки поговаривают, что владеет Елизавета Максимовна тайной, доставшейся ей от бабки-знахарки вместе с сотней золотых монет ещё царского времени. А сама она улыбается и молчит загадочно. И приглашает выпить кофе в выходные – ей известна дивная кофейня неподалеку, открылась совсем недавно, и эспрессо там – восхитительный!

Она звонко смеется и на вопрос о самочувствии и делах всегда отвечает «всё отлично». Она пьет чай с карамельками и смотрит в окно на закат – ярко-красный, размашистый, похожий на неумелый рисунок ребенка – крупные мазки на синем листе неба. Она говорит, что в жизни так много осталось ещё интересного, что и четырех не хватит жизней; что очень не хочется умирать, не увидев того и этого; что ей не хватает дня, и в общем-то, она вполне счастлива и так, но вот ещё бы новую бегонию на окошко – и было бы совсем замечательно.

Елизавета Максимовна всегда плачет девятого мая.

Удивительно, но даже болячки, обычные для людей её возраста, Елизавету Максимовну почему-то забыли. То есть болят у неё колени, конечно, но это не мешает ей ходить на лыжах по выходным и ездить в гости к разбросанным по всему свету внукам. Старшая внучка живет в Англии, у неё двое очаровательных близнецов и муж, потомок русских эмигрантов. Правнуки зовут Елизавету Максимовну загадочным прозвищем «Лэми» и плохо говорят по-русски, но она от души хвастается подругам яркими фотографиями и каждый вечер разговаривает с малышами по скайпу. Ноутбук бабушке подарил, между прочим, средний внук – успешный предприниматель, совсем недавно перебравшийся в Москву. Он носит галстук и пиджак, который расстегивает и швыряет на спинку кресла, а сам скорее набрасывается на бабушкин борщ. А младшая внучка, та самая, с дредами и татушкой, обещала, что попросит крутого байкера Чёрного Волка и его друзей прокатить бабу Лизу на байке, бабе Лизе обязательно понравится.

Глядя мягкие пяточки правнуков, Елизавета Максимовна редко вспоминает своё детство.

Квартира Елизаветы Максимовны невелика и вся заставлена книжными полками от пола до потолка. На полках вперемешку – книги, глиняные фигурки и расписные сувениры, привезённые из путешествий и подаренные друзьями. На подоконниках – множество цветов, и все они цветут изо всех сил круглый год. Захламлённо, но уютно, говорят о ней друзья и родственники и с удовольствием пьют чай – настоящий индийский (привёз недавно в подарок Валечка Комов, в семьдесят девятом он к нам в библиотеку записался), или английский (подарок приятельницы, она сейчас в Англии), или белый с экзотическим ароматом (помнишь Дусю? Так вот она сейчас в Таиланде, представь себе, переслала с okazjiей) и обязательно со всякими сладостями. Каждое утро, когда солнце выстреливает

из-за двенадцатизатяжки напротив, Елизавета Максимовна улыбается и настезь распахивает окна. Вечерами она дома бывает редко.

Среди книг лежит на полке огромный альбом с семейными фотографиями. Елизавета Максимовна аккуратно стирает с него пыль, но открывает нечасто.

Средняя внучка, Настя, та, которая в Питере, – бабушкина любимица. Такая же рыжеватая-русая и кудрявая, какой была в молодости сама Елизавета Максимовна, с такими же любопытными и весёлыми глазами, она, ещё учась на третьем курсе, уехала по студенческому обмену в Германию. И не вернулась обратно, нашла себе мужа – загадочным своим взглядом и ямочками на щеках покорила симпатичного преподавателя-немца из Баварии, совсем ещё молодого, очкастого, светловолосого, истинного арийца, сдержанного и немногословного. А может, он пленился Настинной разговорчивостью (Елизавета Максимовна выражается деликатно и корректно, а именно – «уболтала Настёнка фрица»). Уже четыре года вместе, и, наверное, скоро свадьба; бабуля должна, просто обязана прилететь к ним в гости, а за визу, билеты и прочее пусть не беспокоится – всё будет сделано.

Елизавета Максимовна, против обыкновения, не даёт никаких обещаний и отвечает уклончиво. Слишком много дел здесь, в России – то правнучка заболела, то с работы звонили и слёзно просили помочь, и обещала ведь, как уедешь, а то прилетает из Перми любимая подруга, с которой десять лет не виделись, её нужно провести по Плотинке и сводить в «Коляда-Театр» – разве можно уезжать? А через две недели начинается театральный фестиваль, дивные спектакли заявлены, и билеты уже куплены.

Но Настя настойчива. Настя хочет познакомить бабушку с Паулем, а Пауля – с бабушкой, он тебе понравится, вот увидишь, он очень славный и всё-всё про тебя знает, и ты не волнуйся, у него замечательные родители и чудесный сад, ну ты же не хочешь, чтобы я выходила замуж без твоего благословения? Уже все, кроме тебя, у нас побывали, и мама приезжала, и папа тоже. И с документами всё будет окей, всё сделает один наш знакомый, он большой чиновник, и от тебя требуются только фотографии, и даже ездить никуда не придется. Ведь ты приедешь, бабуля?

И бабуля наконец решается и начинает собирать нужные справки и фотографии. В конце концов, и самой любопытно – посмотреть на Германию, выживет ли она, получив себе Настю на постоянное место жительства?

Елизавета Максимовна вздыхает и каждый вечер молится за внучку.

Большой чиновник не обманывает и действительно делает всё в лучшем виде и почти без участия Елизаветы Максимовны. Ей остается только не забыть уложить в чемодан свои любимые туфли-лодочки и Настину кружку с красным слонем, которую внучка уже два года просит мать привезти, а та всё время об этом забывает. Кроме кружки, Елизавета Максимовна упаковывает и любимый Настин чай, который почему-то не продается в Германии, и постельное бельё, завещанное в приданое девочке, и кучу подарков родителям Пауля и ему самому... короче говоря, за багаж придется платить едва ли не цену самого билета. Но в аэропорт её обязательно отвезут, а в Дюссельдорфе обязательно встретят, так что самой тащить не придётся... а деньги – такие, право, мелочи. И заведя будильник на семь утра, Елизавета Максимовна ложится спать, положив на видное место в коридоре паспорт и билеты – чтобы утром впопыхах не забыть.

Спит она беспокойно и тревожно вздыхает во сне.

Но всё проходит благополучно – так благополучно, что кажется – красную дорожку расстелили специально Елизавете Максимовне от дверей квартиры прямо до трапа самолета, и дальше, дальше, в небо, над густой шапкой облаков транспарант повесили – «Добро пожаловать в Германию!» Утро выдаётся такое пронзительно-ясное, такой рассвет пылает над полем, когда мчатся они в аэропорт Кольцово, что кажется – весь мир замрёт сейчас перед такой красотой. И рейс не задержали, и регистрация прошла быстро и легко, и не было пробок в дороге, успели в самый раз, а сотрудники аэропорта – вежливы и милы, сразу видно – отлично воспитаны. И место в самолете досталось удобное – возле окна. И аэрофлотовский кофе на удивление приличный – в чём-чём, а в кофе-то Елизавета Максимовна разбирается.

Повезло и с соседкой. Милейшая женщина, темноглазая и смугленькая, тридцать лет, летит в командировку, звать Вера. В Германию едет не в первый раз, отлично говорит по-немецки, очень любит Ремарка и Дюма. Елизавета Максимовна, по давней своей привычке библиотекаря, сразу пытается угадать, что девочка читает и как – проглатывает ли всю книгу запоем, а потом возвращается по второму разу, и уже тогда прочитанное обретает чёткость и глубину, или читает неторопливо, вдумчиво и медленно, накрывая взглядом героев и мир, усваивая сразу и навсегда. Всю дорогу они увлечённо болтают о французской литературе, потом – культуре, потом... ладно, о политике не будем, потому что обед развозят. Смеются, вспоминая наперебой старый советский фильм про мушкетеров, Вера цитирует Ремарка – а это, чтоб вы понимали, большая редкость среди молодежи, девочка молодец. Сразу видно ленинградское (простите, питерское) образование. Вера рассказывает о людях, которых повидала в поездках, а Елизавета Максимовна – о тех, кого встречала на встречах, заседаниях и вечерах в своей библиотеке, и обе они приходят к выводу, что человечество в целом не безнадежно. Всё возможно, что и выживет.

Когда съеден уже обед и выпит кофе, Вера вдруг засыпает – сразу, почти мгновенно. Видно, устаёт на своей работе, бедная. Салон затихает под ровное гудение моторов; дети спят на руках у матерей, подростки уткнулись в экраны смартфонов, немолодой, европейского вида господин напротив читает газету. Елизавета Максимовна смотрит в иллюминатор и по старой, давней привычке рисует в клубах облаков очертания животных, замков и деревьев. Молочно-белый дракон раскрывает зубастую пасть и выдыхает клубы голубоватого дыма. Женщина смеётся тихонько и думает, как много ещё удивительного и неузнанного вокруг. И почему-то именно здесь, на высоте десяти тысяч метров, очень хочется жить.

Внизу проплывает похожая на лоскутное одеяло Германия, самолет идёт на снижение. Люди просыпаются, переговариваются, поправляют причёски, разыскивают закатившиеся под кресло кроссовки и наушники. Бодрый голос стюардессы поздравляет с прибытием по-русски и по-немецки. Елизавета Максимовна смотрит на растущие здания города Дюссельдорфа и думает о Насте. За бортом пасмурно, самолёт проткнул плотную гряду туч ещё полчаса назад, и солнца уже совсем не осталось. Но там ждёт её внучка, рыжее солнышко, и женщина щурится, как от яркого света, и улыбается. Вера рядом тихонько зевает и ёжится со сна.

Когда приземляется самолет, обе бурно аплодируют мастерству пилотов – этих суровых отважных мужчин в такой красивой лётной форме. А потом переглядываются и тихонько улыбаются друг другу.

Они спускаются по трапу в серый тёплый день германского лета, и Елизавета Максимовна озирается по сторонам. Губы её вздрагивают, а глаза смотрят недоуменно – и растерянно. Она очень редко бывает растерянной, и каждый раз это... непривычно.

Но всё проходит благополучно. Уже новенький автобус довозит их до светло-серебристого здания Дюссельдорфа, уже видна вдаль толпа встречающих, и Елизавета Максимовна выглядывает в ней Настю, потому что нужно получить багаж; уже устало кивает девушка-таможенник, и первые шаги по немецкой земле ничем, в сущности, не отличаются от таких же шагов по земле московской или, скажем, новосибирской. Гулко смешивается, повисает под ребристым куполом разноязыкая речь с громкими словами объявлений на трёх языках; смех, приветственные возгласы и детский плач сливаются в один ровный гул. В воздухе пахнет дорогой, тем неуловимым ароматом путешествий, который ещё никто не смог описать словами, и почему-то свежими булочками. Елизавета Максимовна улыбается, оборачивается к Вере, идущей рядом, и хочет что-то сказать... и слышит, как звенит за их спинами чей-то мобильник. Громко играет мелодия вызова, и хозяин почему-то очень долго шарит по карманам – видно, позабыл, куда положил.

И старая женщина, не говорящая ни слова по-немецки, эту мелодию узнает – слишком сильно врезался ей в память каждый такт, каждое слово, каждый звук.

Неужели, думает она машинально, кто-то ещё помнит эту песню, ей, кажется, почти сотня лет, и знают её только немцы старшего поколения. Это «Лили Марлен». Кто-то поставил её на дозвон... ну, точно вызов: мелодия обрывается, сменившись хрипловатым немецким: «Да, я уже здесь. Уже приземлились, да. Всё в порядке, милая» – их обгоняет седой господин с лёгким дипломатом в руках.

И небо стремительно становится неживым, и пол превращается в землю, сухую, растрескавшуюся, она больно ранит босые ступни. И Вера, обернувшись, едва успевает подхватить оседающую на пол Елизавету Максимовну с совершенно белым, искажённым ужасом лицом.

...Славная страна Германия, думает русская командированная Вера несколькими минутами позже. Вернее, не то чтобы думает – подумать ей есть о чем и без этого. Но всё-таки – уже сколько раз прилетает сюда и каждый раз удивляется заново. Тому, как чётко всё организовано. Как быстро и умело решают немцы все нестандартные ситуации, как реагируют на непредвиденные случаи – неважно, сообщение это о заложенной бомбе, роды в самолете или сердечный приступ у одной из пассажирок. Мгновенно, точно из-под земли, вырастает перед ними служащая – молодая симпатичная женщина в униформе, на бэйдже на груди имя: Ева Краузе. Не проходит и двух минут, как появляется врач, больше похожий на дипломата, немногословный, сухощавый и строгий. Вдвоем с Евой они поднимают, отводят в сторону и усаживают Елизавету Максимовну на стул у большого окна, хлопчут возле неё. Сразу резко пахнет чем-то, похожим на нашатырь.

Потом врач понимает, что эта пожилая фрау не только не говорит по-немецки, но морщится при любой попытке завязать разговор, безошибочно вычленяет из всех стоящих рядом Веру, спрашивает её, а потом повторяет по-английски:

– Вы меня понимаете? Вы можете говорить со мной?

Вера кивает и объясняет, что нет, она попутчица, летели вместе, полёт прошёл нормально, фрау ни на что не жаловалась, стало плохо, когда вышли в зал, её должны встретить, но надо бы объявить по громкой связи.

– Не надо... – шепчет уже пришедшая в себя Елизавета Максимовна. – Мне уже лучше. Не надо.

Не серые ребра высокого потолка аэропорта видит она над собой, а небо, высокое мутное небо, и пыльные яблони во дворе, слышит голос, повторяющий по-немецки приказы, и стук ботинок. И шепчет, шепчет, стараясь вытолкнуть это из себя, выплеснуть, выдавить из памяти – и оставить навсегда там, под этим небом, под этим чужим, совсем чёрным солнцем:

– В сорок третьем... – не хватает воздуха, – нас угнали в сорок третьем. Двести девчат из Смоленска... Мне двенадцать было... Попала на ферму в Баварии... Хозяин любил эту песню: «Лили Марлен». Столько лет прошло, забылось всё, а её – помню. Иногда по ночам просыпаюсь... снится – руки его волосатые и голос жирный. Мне повезло – маленькая была, а других, кто постарше, – тискал. Там доить научилась, навоз выгребать... у мамы дома белоручкой росла, а там пришлось... научиться... Страшно... До сих пор страшно... Два года... даже бомбёжка не так страшно, как там... на ферме той проклятой. Хозяйка нас помоями кормила...

Она вздыхает – прерывисто и тяжело – и виновато смотрит на Веру, на стоящих рядом врача и Еву Краузе.

– Простите меня. Я не предполагала, что так получится. – И извиняется: – Ведь теперь эту «Марлен» никто почти и не помнит, её сейчас не поют. Я не думала, что услышу. И ещё язык вокруг, везде – немецкий. Совсем как тогда. Вот ведь... сколько раз по скайпу с Паулем говорили, знала, что он немец, знала, куда еду. И всё равно...

Врач берёт её за запястье, деловито шевелит губами, подсчитывая пульс.

– Что она говорит? – тихо спрашивает Ева.

– Войну вспомнила, – коротко отвечает Вера по-немецки. – Её в детстве в Германию работать угнали.

Женщина вздыхает:

– Это ужасно. Скажите ей, что мы соболезуем.

Елизавета Максимовна опять закрывает глаза и не слышит, как ворчит Вера по-русски:

– На черта ей ваши соболезнования, – и добавляет по-немецки: – Спасибо.

– Бабушка! – слышен рядом отчаянный громкий крик. – Бабушка!

Расталкивая людей вокруг, летит, несётся к ним Настя – любимая внучка, малышка, чижик, ещё по-детски круглолицая, полненькая, рыжие локоны рассыпаны по плечам. Опускается на колени прямо на пол, скидывает со спины зелёный рюкзачок, выхватывает бутылку с водой.

– Бабушка! Ну что с тобой? Что случилось? Лекарство есть?

Елизавета Максимовна улыбается ей и пробует встать.

– Ну, всё как будто в порядке, – врач отпускает её руку. – Укол подействовал, сейчас должно стать легче. Если фрау может встать, мы проводим её в комнату отдыха.

– Не надо, – вмешивается незаметно подошедший высокий молодой человек в очках, – мы её родственники. Мы отвезем её домой и проследим, чтобы она выпила все лекарства.

Вера с интересом смотрит на него. Тот самый Пауль? Похоже. Серьёзное тонкое лицо, умные глаза сквозь очки смотрят строго и уверенно, одет неброско, но аккуратно, светлые волосы обрезаны ниже ушей. На Настю смотрит с явной любовью, а на новую бабушку – с тревогой и заботой. Да, здесь явно настоящее чувство. Повезло девочке.

– Что случилось? – спрашивает Пауль по-русски. Язык явно дается ему с трудом.

– Войну вспомнила, – снова отвечает Вера по-немецки. – Услышала у кого-то в телефоне старую песню «Лили Марлен», стало плохо.

– Да, – кивает Пауль, тоже перейдя на немецкий, – Аса об этом рассказывала. Я знаю. Ужасно, конечно, это всё. Столько лет – и всё это не забывается.

И добавляет зачем-то:

– У меня прадед был без ног, я его хорошо помню. Он тоже воевал... попал в плен в России. Отморозил там ноги. На протезах потом ходил.

Елизавета Максимовна что-то говорит Насте – шёпотом, едва слышно; на бледные щёки её потихоньку возвращается румянец. А Вера молчит. Резкое «Его к нам никто не звал!» едва не срывается у неё с языка. Ведь ничем не виноват этот совсем молодой и, в сущности, очень славный парень ни перед ней, Верой, ни перед своей будущей бабушкой. Он не воевал. Четвёртое поколение, внук за деда не в ответе, тема памяти и вины уже давно пройдена и закрыта. Сколько же должно пройти ещё лет, чтобы перестали люди вздрагивать от безобидной «Лили Марлен», просыпаться по ночам от ужаса, вздрагивать, слыша немецкий язык вокруг? Шрамы на теле болят, говорят, до смерти. А шрамы на душе? Может, и после смерти болят они тоже?

Людской поток обтекает их, как река. Объявляют посадку на очередной рейс.

Спустя несколько минут в аэропорту города Дюссельдорфа уже ничто не напоминает о недавней сумятице. Поддерживая под руки почтенную пожилую даму, молодые люди ведут её к выходу, а служащая идет с ними рядом. Люди с сумками, рюкзаками, телефонами, наушниками обгоняют их со всех сторон. Смешиваются потоки немецкого, английского, русского, японского и Бог знает каких ещё языков. На большом табло над входом светится время – 14.50 – и дата: две тысячи пятнадцатый год.

Вера стоит и смотрит им вслед.

«С тобой, Лили Марлен...» — крутится в голове старая, совсем немодная сейчас песенка.

ИВАН ДА МАРЬЯ

Ох и красивая же была эта пара – Иван да Марья. Точно из русских сказок пришедшая, из тех далёких времен, когда древняя Русь водила хороводы вокруг своих костров. Они и похожи были на картинки из детской книжки: высокий, синеглазый, широкоплечий Иван с льняными кудрями и маленькая сероглазая Марья с толстой русой косой, предметом зависти и ровесниц, и женщин постарше.

Её так и звали все – Марья. Не Маша, не Манька и не Маруська. Даже девчонкой она выделялась среди сверстниц – спокойствием каким-то, немногословностью и рассудительностью, совсем не детской прямоотой. Как глянет на тебя огромными глазами – всю душу, кажется, вывернет, всё до глубины поймет, до донышка. Недаром мачеха её ведьмой звала, но не ударила ни разу, даже не замахивалась. Боялась.

Мать у Марьи умерла, когда девочке минуло двенадцать, – утонула. Речка наша, Калинка, хоть и неширокая, а глубокая, и тонули в ней, бывало, даже в августе, в жару, когда обнажались берега и отмель на середине реки становилась видна. А в июне, после бурных весенних дождей, и вовсе не редкость. Хорошо женщина плавала, да, похоже, ногу судорогой свело; её только на другой день нашли под мостом, тело отнесло течением. Отец Марьи на похоронах стоял совсем чёрный, а на другой день запил. И пил беспробудно три месяца. А через полгода привёл в дом новую жену. Та девочку невзлюбила сразу, хоть и старалась виду не подавать. Не обижала вроде, даже ругалась не сильно, не ударила ни разу – а все ж не приласкает никогда и кусок получше, как родная мать, не поднесёт. Диво ли, что Марья после свадьбы перебралась в дом мужа. Свекровь-то, Софья Ильинична, приняла и полюбила её сразу. Да и мудрено было её не полюбить.

Как Марья пела! За эти песни ей всё можно было простить. Откуда взялся в рабочем городе такой сильный, редкостный по красоте голос – загадка. На всех девичьих гулянках первый запев – Марья. Иван так и говорил, что сначала песню услышал, а потом увидел Марью. Ей было семнадцать тогда, и ещё целый год, пока невесте восемнадцати не исполнилось, они ходили рядом, не смея друг друга за руку взять. Как же, мачеха Марью в строгости держала; да и родители Ивана – люди старой закалки, порядочные, с чего бы и сыну баловником расти?

Наша улица Краснознамённая одним своим концом упиралась в гору и принадлежала, строго говоря, не городу, а посёлку Петровскому, ставшему городской окраиной перед самой войной. Это теперь посёлок находится в черте города, его окружают многоэтажные кварталы, и только роза ветров не даёт городу расти и дальше на запад. А тогда за ним лежала степь, куда поселковые ребятишки бежали за диким луком, и отвалы – туда свозили отходы с большого нашего завода.

Краснознамённая, начинаясь прямо от горы, спускалась вниз, сливалась с улицей Менделеева и выводила к центру посёлка, к магазину, а от него – к шоссе, ведущему в город. Речка Калинка делила Петровский на две части, Западную и Восточную. Посёлок уже тогда был довольно большим, имел даже свою школу, и с городом его соединяли автобусы, ходящие пять раз в день до заводской проходной. Улица наша сплошь заросла черёмухой и сорняками; а вот яблонь, которые в таком изобилии растут сейчас во дворах, тогда не было. Дичка, дикая яблонька прижилась непонятно откуда только во дворе у Семёновых, и Иван мальчишкой бдительно охранял её ветки от набегов соседских ребятишек. Впрочем, никто особо не покушался: Иван считался заводилой и был уважаем в ребячьей компании – наверное, потому, что никогда не жульничал; в играх, если выбирали водящим, судил по справедливости, а ещё хорошо учился. Среди пацанов того времени это считалось в плюс, а не в минус.

Иван да Марья выросли на соседних улицах, но друг друга почти не замечали – до того дня, когда Иван проходил мимо весёлой компании девчат, поющих

у реки. Полоскала Марья бельё и пела песню про соловушку, свою любимую. Откуда она её взяла, неизвестно – эту песню вообще до неё никто не знал в посёлке. То ли мачеха привезла из далёкой Белоруссии, откуда была сослана вместе с семьёй, то ли по радио Марья услышала – Бог весть. Но полюбила её и пела очень часто. Чаще других, тех, что все тогда пели, и советских, новых, и старых, бабкиных, про рябину да лучинушку. Соловухой прозвали Марью подруги.

Иван к тому времени работал в первом механическом. Туда же после восьмилетки и Марья пришла. Учиться дальше ей мачеха не позволила, а отцу было всё равно. Ну Марья и не возражала, а уж когда с Иваном ходить начала, и подавно. И ведь что странно: росли-то на соседних улицах; играли на заросших ковылём и одуванчиками холмах, всей гурьбой на речку за щавелем ходили да купались оравой – а друг друга до той встречи словно не видели. Три года разницы – разве много? Впрочем, в Марье тогда было-то – коса да голос. Малявка малявкой, веснушчатая и голенастая, глазами зыркает, языкатая, как все они, девчонки-подлетки. Она расцвела в одночасье, как будто уснула тощей лохматой нескладёхой, а проснулась девушкой, крепкой, стройной и сильной, свежей, как эта сирень, ветви которой клонились от тяжести цветов над их свадебным столом.

Вот так шёл Иван с работы, услышал песню и остановился. Спустился к реке. Посмотрел на стайку девчат, полощущих бельё, увидел Марью. Подошёл, взял за руку...

Больше они не расставались.

Свадьбу играли в мае, и белое платье Марьи было усыпано лепестками сирени, в изобилии растущей во всех дворах. Столы вынесли во двор, сдвинули и накрыли вышитыми скатертями. На всю улицу пахло печевом. Немудрящим было угощение, но его с лихвой возместили и смех, и песни, и танцы под гармошку, на которой так весело играл старик Федосьич, азарт и беззаботность молодёжи и радость родителей Ивана; даже отец Марьи, хоть и выпил ради свадьбы, сидел непривычно причёсанный, в свежей рубашке и солидно поздравлял молодых.

Гуляли всей улицей, и даже у самых отъявленных сплетниц не повернулся язык хоть в чём-то очернить эту пару. Бабы любовались, тайком утирали глаза. Слишком сильным было их счастье, слишком откровенно и явно сквозила любовь в движениях, в голосах жениха и невесты, в том, как они смотрели друг на друга. Многие девчата хотели бы оказаться на её месте; многие с Ивана глаз не спускали. Но ни у кого не нашлось чёрных слов, когда смотрели люди на эту любовь.

Одно только заставило перешёптываться, одно слегка омрачило общую радость. Утром треснуло зеркало, перед которым причёсывали невесту. Райка, портниха, признанная всей улицей мастер, заметила недоумённо среди общей тишины:

– Ой, чего это? Не к добру, говорят. – А потом махнула рукой: – А ну их, бабкины сказки.

А мачеха Марьи только губы поджала.

За свадебным столом пели девчата, пели женщины постарше, пели все вместе. Голос Марьи выделялся в общем хоре. А потом она запела одна. И пела вроде бы для всех, но видно было – для него одного, для своего Ивана, для того, кто один для неё на всю жизнь, и в радости, и в горе. Пела все ту же, свою любимую, про соловушку. Притихли люди; такая тоска и горечь звенели в голосе Марьи,

точно вот-вот придёт чёрная беда и заберёт с собой любимого, а у неё не хватит сил его спасти. Софья Ильинична, с этой минуты – свекровь, смотрела на невесту и только головой качала.

Но даже самые завистливые и недобрые, если они ещё оставались за столом, прикусили языки, когда высокий, крепкий, сильный Иван на руках понёс невесту от стола до входа в дом. Маленькая Марья прижималась к нему, обвила руками его шею, и казалось – всю жизнь он так её пронесет, от любой беды защитит и уберезёт.

...Вот так и жили они. На работу вместе и с работы вместе. В огороде вместе и в гостях вместе. Иван часто просил Марью спеть для него одного, и, бывало, вечерами они уходили на берег, на мостки, с которых бабы бельё полоскали. Иван садился на песок и, обхватив руками колени, смотрел, смотрел на жену. А она стояла у воды, глядя вдаль, и лицо её становилось строгим, отрешённым и словно нездешним. И голос летел, звенел над водой. Шли мимо люди, замедляли шаги, притихали...

Дом у Семёновых был большой, очень светлый и чистый. Софья Ильинична всюду в комнатах повесила белые, украшенные вышивкой занавески, на пол сплела из старых тряпок половички. Только тряпок-то было немного, обносились люди после революции, это уж потом, как она говорила, «на свет смотреть стали». В низеньких, но уютных комнатах всегда пахло цветами, свежим деревом и чем-то неуловимо домашним, добрым, родным.

Марья, работающая, скромная, приветливая, пришлась Семёновым по сердцу. Свекровь любила её песни слушать. Марья поначалу стеснялась при ней во весь голос петь, потом привыкла. Пела и в доме, прибираясь или стряпая, и во дворе, и в огороде, собирая вишню. Даже свёкор слушал, посмеиваясь в усы. А Иван, большой, сильный, молча смотрел на Марью – и улыбался. А уж она-то, после вечно недовольной мачехи да отца-пьяницы, после попреков и неласкового, грязноватого родительского дома попав в дружную работающую семью, расцвела, похорошела. Улыбка не сходила с её губ, в голосе звенело счастье.

Месяц они так-то миловались, ходили, держась за руки, никого вокруг не замечая, смотрели друг на друга. А через месяц война началась.

Марья провожала на вокзал сразу троих: отца, мужа и свёкра. Софья Ильинична старалась держаться, не выла в голос, как многие женщины, но глаза, опухшие, красные, даже не прятала. А Марья слезинки не проронила. По-бабьи повязанная платком, вцепилась в руку мужа и не отпустила до той самой минуты, как объявили посадку. Иван её пальцы, стиснутые, побелевшие, по одному разжимал. Поцеловал её, потом мать и в вагон прыгнул уже на ходу. А отец Марьи, уходя, шепнул что-то ей на ухо. Кто рядом стоял, говорили: прощения попросил. Марья кивнула – и поцеловала его, в первый раз за несколько лет. А мачеха опять только губы поджала.

Вот и остались Марья со свекровью вдвоем в большом – на две семьи строили – деревянном доме. Жили и ждали. Марья с тех пор так и не снимала повязанного по-бабьи платка. И на посиделки девичьи больше не пришла ни разу. Работа, дом да свекровь. А вот петь – пела. Если воскресным утром на улице слышится песня – гадать не надо, это Марья мужу удачу привораживает.

Смех смехом, а так и стали бабы говорить: привораживает. То одна, то другая, приходили к Семёновым по вечерам, просили:

– Спой, Марья. Ту, про соловушку. Что-то от моего долго писем нет, живой ли?

Марья не отказывала, пела. Про соловушку, который весной возвращается в родной сад. Вроде и песня как песня, ничего особенного, а смотришь – через день-два письма приходили, да всё треугольнички, от живых.

Только себе счастья наворожить не смогла. В январе сорок второго сразу две похоронки пришли Семёновым, одна за другой, с разницей в полмесяца. Сперва свёкор Марьи, отец Ивана, а потом и сам Иван. Смертью храбрых. А где могилы их, никто не знал, потому что наступление и все в одной куче.

Софья Ильинична только и сказала:

– Что ж ты... себе не наворожила, Марья! Что же ты...

И повалилась в беспамятстве.

Вот с тех пор Марья петь перестала совсем. Как бабка отшептала. Сколько ни просили её женщины – никому ни разу. У свекрови, говорят, прощения просила, хоть и понимала, что та не со зла – с горя. А потом и просить стало не у кого – умерла Софья Ильинична через месяц. Марья осталась одна в опустевшем доме и больше чёрного платка уже не снимала.

Первые пленные немцы появились у нас в сорок пятом. Город наш тогда не имел ещё статуса закрытого, несмотря на большой завод, и поэтому пленных стали присылать к нам едва ли не самым первым. Селили их в бараках на окраине, и по первости на них люди смотреть как на диковинку ходили. Как же: вроде звери – а две руки, две ноги и голова, как у всех. Мальчишки на улицах бросали камнями, когда колонну оборванных угрюмых людей в серо-зелёных шинелях вели на работу. Бабы только что пальцами не показывали. Марья смотреть не ходила ни разу. Что, дескать, я там не видела – горя чужого?

Их водили на работу почти через весь город и почему-то всегда пешком. Много чего сделали пленные в нашем городе; до сих пор стоят кварталы, построенные ими. Странная, причудливая архитектура, неуловимо средневековый стиль; смешение культур – в облике этих вроде бы обычных домов можно уловить и черты лютеранской церкви, и облик милых, добропорядочных европейских буржуа, и русский климат накладывает на фасады свой суровый отпечаток. Первый наш поселковый кинотеатр построен пленными, и даже первые афиши рисовали, говорят, тоже они.

Их водили по шоссе, мимо школы, мимо рыночной площади – заросшей травой лужайки возле магазина, на которой всё ещё торговали в те голодные годы кто чем: тряпьем разным, лепёшками из картофельной муки, маленькими кружками молока, изредка – творогом или сыром. Бабки летом продавали цветы, в изобилии росшие на городских окраинах да в своих палисадниках; скромные тюльпаны, пышные георгины и маки, застенчивые ромашки смотрели с прилавков на тех, кому не жаль было денег за эту красоту. Покупали цветы в основном перед сентябрем, в подарок учителям или если кто перед женой провинился. В остальное время ушлые парни воровали их по ночам из тех же палисадников. Бабки, дотошные, вездесущие, поначалу глазели на немцев так, что про товар забывали, а потом долго судачили вслед. Бывало, первые месяцы вслед нестройной колонне кричали кто что, кто «Гитлер капут», кто «Что, гады, съели?», кто «Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана». Сгорбленные эти спины только вздрагивали в ответ на плевки и свист.

Потом народ попривык к пленным, перестал таращить на них глаза. Жалкие, ссутуленные фигуры их стали для города привычными. Бывало, покупали и у них что-нибудь, если в воскресный день кто-то из немцев приходил на рынок. Они продавали деревянные игрушки, вырезанные, надо признаться, очень искусной рукой; оловянных солдатиков, из чего уж их только отливали; леденцы на палочке, дешёвые, но вкусные; сделанные из жести кружки. Потом, уже после Победы, предприимчивые фрицы открыли свою портняжную артель, и, надо сказать, заказов бывало у них немало. В основном, конечно, верхняя одежда, юбки-то и платья да детскую одежку бабы всегда шили сами.

Где уж наша Марья того немца, никто не знал. На работе, что ли? Или когда мимо рынка шла? Не враз, не вдруг, но заметили соседки, что изменилась Марья. Платок свой тёмный не сняла, но повязывать стала не так низко. И глаза засияли, оживилось, словно осветилось всё лицо. Стала вечерами задерживаться до темноты, пропадала где-то. И – никому ничего, ни единого слова.

Когда пришла Победа, плач стоял над всей улицей. Смеялись все и рыдали все. О тех рыдали, кто не вернется, и о тех, кто пришёл живым, но без рук, без ног... или ослепшим, как сапожник наш, дядя Фёдор. Плакала и Марья вместе со всеми, и её черный вдовый платок сбился на затылок, когда обнималась она и целовалась с Нюркой Фирсовой, лучшей своей подружкой, у которой в сорок четвертом погиб муж; и с Евгенией Ивановной, учительницей, которая проводила в сорок третьем сына, едва ему восемнадцать исполнилось, а через три месяца получила похоронную; и с бабой Аней из дома сорок восемь, которая пятерых парней отдала да двоих девок, а вернулись только трое. Но когда попросила Марью Нюрка: спой, мол, Победа ведь – отказалась Марья, головой покачала. Слезы её душили, не хватало дыхания.

И кто бы мог подумать? Вот никто и не думал, не догадывался ни о чём, пока Марья его за руку домой не привела. Это уже после Победы случилось, осенью сорок пятого. Идет Марья домой с работы, а рядом – высокий, тощий, в серой шинели. Лицо грубое, как из камня вытесанное, глаза в землю, губы сжаты. На белобрысой макушке пилотка рваная едва держится. И говорит он ей что-то не по-нашему, а она будто понимает. Ахнули бабы. Ахнула вся улица. А Марья идет, голову держит высоко, а на лице – улыбка. Не жалкая, виноватая или там оправдывающаяся – гордая. Вот, мол, завидуйте. Вот я – и я его люблю. И такое счастье в глазах, что никто ни слова не вымолвил. Онемела улица.

А Марья за руку провела его в дом. И окно распахнула. Зажгла лампу... а занавески – задернула.

Это уж потом, стороной узнали всё бабы. Да, немец. Да, пленный. У себя в Германии рабочим был, но – высокого класса. Он и здесь стал не улицы мести, как многие из них, а по прежней своей профессии работал – плотником. И такие, понимаешь, у него хорошие вещи получались – да не только столы там или табуретки, а шкатки, игрушки детские, узорная посуда, – что покупать их стали люди. Настоящее ремесло, неважно чьим рукам оно досталось, всегда вызывает уважение. А звать того немца – как в насмешку – Иоганн. А по-русски – Иван, значит.

Как же ты могла, Марья?

Пробовали бабы говорить с ней, совестить, уговаривать – обрывала всех Марья. Моё это дело, дескать, и нечего лезть. Или молчала, глядя мимо, и такое упрямство на лице написано, что сразу понятно – бесполезно всё.

Но как же ты могла, Марья?

– Как же ты могла? – спросила её Нюрка Фирсова. Лучшая подружка, которой Марья с детства все тайны доверяла. А Марья только улыбнулась и головой покачала.

– Разве я сама об этом знала? Так получилось, понимаешь... – и руками развела, виновато вроде и покаянно. А глаза – счастливые.

Но, видно, и вина её точила. В глубине тех глаз, под счастьем, боль плескалась. Боль и вина.

Надо ли говорить, что Марью с тех пор замечать перестали. Ни в гости не позовет никто, ни по делу не зайдет. В цехе косились, в обеденный перерыв никто словом не перемолвится. А ей словно бы всё равно: летает счастливая. Платок свой вдовый сняла, причёсываться стала по-иному, коса вокруг головы короной. Лицо сияет. Глаза сияют.

А в глазах под счастьем – боль. И вина.

Пробовали и мужики с немцем этим, Иоганном, говорить. По-мужски, конечно, по-своему. Да он, гад, здоровый, сильный. Видно, в своей Германии драться навострился; да и то сказать, если остался жив, не погиб, а только в плен попал, так, видно, удачлив да силен оказался. Словом, отмахался он. Не без потерь, конечно – сам едва до дому доползал, лицо всё в крови. Но отмахался – раз, другой, третий. Марья, по слухам, хотела в милицию пойти – запретил. Понимал, наверное, что милиция мужикам за такое дело ещё и орденов навесит. Да и какая разница, чего он там себе думал. Но потом мужики от него отстали. Толку-то, если он всё равно от Марьи не отступится, сам сказал. Он к тому времени порусски кое-как говорить научился, простые фразы уже мог связать. Ладно, чёрт с ним, с немцем, пусть живёт. Может, потом домой уедет, в Германию свою, их ведь к тому времени отпустить уже начали.

А через положенный срок Марья родила. Мальчика. Весна стояла, апрель, тёплый, пасмурный, с ветром в лицо. В роддоме, бабы рассказывали, к ней никто подходить не хотел, в лицо говорили: выблядка немецкого сама нагуляла, сама и рожай. Только Анастасия Филипповна, старая акушерка, через руки которой едва ли не полгорода прошло, прикрикнула на медсестричек:

– Дуры, совести у вас нет! Дитё разве виновато?

И до конца от Марьи не отходила, вытирала ей взмокший лоб, подбадривала и подшучивала. Марья же, рожая, не закричала ни разу, стонала только. И только когда головка прорезалась, закричала пронзительно:

– Ваня! Ваня!

Выскользнул мальчик, маленький, красный, завопил громче матери. Акушерка усмехнулась:

– Звала, что ли? Вот и пришёл твой Ваня. – Запеленала, сунула матери: – Получай.

Так и назвала Марья сына – Иваном. Точно в насмешку, шептались люди. А фамилию свою записала, и отчество – Иванович. Иван Иванович Семёнов. С немцем-то они не расписаны были.

Мальчишка получился – вылитый папаша-немец. Такое же грубоватое лицо, такой же белобрысый и худой. И вечно болел. Весь в соплях зелёных, то и дело жар у него. Доктор детский в тридцатый дом на нашей улице зачастила, едва не каждую неделю бегают. И крикливый же пацан был! Целыми ночами напролет

матери спать не давал. Похудела Марья, осунулась. С работы уволилась, конечно, куда ей. А всё равно, если встречали её на улице, видели бабы – счастлива.

Когда малышу месяца три было – лето стояло, жара, окна нараспашку – услышали однажды днем люди песню. Ту самую, про соловушку. Подумали сначала, что померещилось, потом на улицу вышли; слышно – песня от дома Семёновых доносится. А уж когда подошли, вроде как мимо и случайно, к окнам, что выходили в палисадник, поняли: это Марья поёт. Видно, ребёнка днём укладывала, убаюкивала и затянула, чтоб успокоить крикуна.

Полдень, жара, пыль, пух тополиный по обочинам ветерок гоняет. Поёт Марья. А люди, попрятавшись за деревьями и кустами, слушают. Про соловушку. Долго она в тот день пела; все песни, какие раньше знала, вспомнила. Бабы, стоя за своими заборами, украдкой слезы вытирали. Мужики матерились по-чёрному – вспоминали, какие они были счастливые, Иван да Марья. А уж кто в тот день рюмку хлопнул, тех жёны не ругали даже. Вроде и не за что было.

Вот так и жила наша улица – как гнездо смирных ос. Вытягивали послевоенный голод, делились друг с другом чем могли... все – вместе, а Марья со своим немцем – отдельно. Косились люди, и долго не могло так продолжаться – чем-то да должно было кончиться. Понимала ли это Марья? Бог весть. И не в том дело, что именно этот Иоганн стрелял в Петра Филиппыча из тридцать девятого дома, или в Ивана, или в Володьку и Сашку бабы-Аниных. А в том, что никто его, немца, сюда не звал. И если б не он со своим Гитлером, жили бы Иван да Марья, как все люди, жили бы, детей рожали, песни бы им пели про соловушку. Своих детей, русских, русоволосых и крепких, а не таких, как этот белобрый задохлик. А Иоганн мало того, что Ивана нашего убил, так ведь и жену его убивает. Медленно. Потому что это разве жизнь – видеть, как тебя люди стороной обходят, как косятся на тебя и на ребёнка, посылают вслед проклятия. Просто потому, что ребёнок твой – немец наполовину.

То был совершенно обычный день, летний... если не считать, правда, того, что получился он очень душным и жарким. Уже три недели стояло пекло, на раскалённом небе – ни облачка. К вечеру соберутся было тучи, погромыхает где-то – и опять жара, и снова ни облачка, и гроза проходит стороной. А грозу бы так надо! Люди измаялись, духота давила на голову; в воздухе висело напряжение и какая-то бессильная усталость.

Марьиному сыну исполнилось уже три, но на улице мать его одного ещё не выпускала. За эти годы неприязнь людей к немцу не утихла, а, пожалуй, только усилилась. Их ненавидели по-прежнему. За то, что в семье был муж и отец, пусть даже немец, а почти на всей улице дети росли без отцов. За то, что стараниями Иоганна в доме царил пусть и относительный, но достаток – изделия немца по-прежнему хорошо покупали, он всё-таки был хорошим плотником. Иоганн подправил скрипучее крыльцо, которое не успел починить Иван, подлатал крышу. За то, что мальчишка Марьин вроде бы перестал болеть, прекратились его бесконечные зелёные сопли, он рос хоть и капризным, но здоровым, а у тетки Натальи из дома напротив зимой умер внук от дифтерита. За то, что пела Марья теперь не только укачивая сына, но и вечерами – для немца. Не уходила никуда, просто пела – в доме, и если окна бывали открыты, это слышали люди. А раньше она пела – для Ивана.

До сих пор, если шла Марья по улице, вслед ей нет-нет да летели грязные слова. Но – только если одна. При немце её задевать не решались. Вроде и не говорил он ничего и никого не трогал, а как посмотрит исподлобья, поведёт плечами неуловимо, так сразу понятно: лучше не лезь. Такой и убить может. Понимал ли он, что им вслед кричали, неизвестно, хотя, говорят, русский мат фрицы вперед «здравствуйте» выучивали. Но глядел недобро – и этого хватало, затихали люди.

Детский врач, которая теперь реже бывала в их доме, рассказала – своей медсестре, а та – знакомым, да так и пошло по городу, – что в большой комнате висит на стене, на самом почётном месте портрет Ивана. Большой портрет, увеличенный с маленькой фотокарточки, на которой снялись Иван да Марья перед войной. Трижды уже отмечала страна День Победы, и всегда в этот день Иоганн не выходил из дома, даже если выпадал этот день на рабочий. Старался не попадаться никому на глаза. Мужики больше не трогали его, обходили стороной, а сам он ни с кем первым не заговаривал. Устроился на работу в бригаду плотников, а в ней – сплошь инвалиды да старики. Но они, если расспрашивали их знакомые и друзья о немце, отвечали сдержанно и ничего особенно плохого о нём не говорили. Вот разве что – не пьёт. Разве ж это мужик?

В общем, как уж получилось, что сын Марьи в тот день за ворота вышел, никто не понял. Не то ворота у них оказались не закрыты, не то что, а Марья не уследила, как мальчишка выскочил. В доме была, ужин она, что ли, готовила. На улице, понятное дело, стайка пацанов крутилась: каникулы, и хоть и запрягали их помогать по хозяйству матери, всё не на целый день. Дело шло к вечеру, ребятни с окрестных домов уже понабралось.

Конечно, местные ребяташки знали, кто такой этот белобрысый тощий пацан, видели его не раз. Но вот так, одного, без матери и отца встретили впервые. Обступили, загомонили. А тот малой ещё, глупый, не понял, что не с добром его встречают. Да и так разобраться, с чего бы ему про взрослые дела знать? Сначала просто рассматривали – как же, немец, интересно. И главное, пацаны-то все – дурачье, старше десяти нет ни одного; был бы с ними кто постарше да поумнее, обошлось бы дело. Что уж там он сказал им или сделал, никто потом разобраться не смог, мальчишки один на другого вину валили, и всё кончилось вечным «А чё он? А мы ничё совсем не делали!» Словом, кинулись они на него.

Когда Марья выскочила на улицу, привлечённая шумом, голосами и таким знакомым рёвом, её Ванька со всех ног удирал от мальчишек к своим воротам. А они орал в след что-то про немецкого выкормыша и кидались комьями сухой, спекшейся, твердой, как железо, грязи. Увидев выбежавшую Марью, и в её адрес прокричали про немецкую подстилку. Ванька – глаз заплыл, на щеке царапина – с плачем добежал до матери, ткнулся в её подол; обхватив сына руками, Марья почувствовала, как в ужасе вздрагивает всё его маленькое тело.

Потом она говорила, что себя не помнила. Толкнув во двор сына, Марья разъяренной кошкой метнулась к мальчишкам, кого-то поймала за руку, кому-то шлепок отвесила, у кого-то выкрутила ухо...

...Торчавшие у окон соседки выбежали на улицу.

...Они кричали Марье в лицо грязные, площадные ругательства и бросали в неё те же самые комья, которые только что летели в спину её сыну. Они хлестали её по плечам, по спине снятыми платками, вырванными из заборов кольями,

вцепились в волосы, рвали косу. Всю свою горькую жизнь, вдовью долю и обиду на эту долю вымещали на ней, на той, с которой вместе росли и делились секретными; которую утешали в чёрные дни после похоронки; которая пела про соловушку для их мужей; которая предала их своим счастьем, отгородилась от них своей любовью, забыла мужа, заслонившего их грудью; которая отдалась врагу и родила ему сына. Она не могла быть счастливой, не имела на это права, потому что счастье её было – с врагом. И пусть Иван, погибший за неё, уже ничего не мог ей сказать – за него сказали эти бабы. А уж что именно он бы ей сказал – ударил бы её или простил, им было неважно. Им вообще всё было неважно.

...Заходился рёвом, лёжа в воротах своего дома, маленький белообрый мальчик. Его мать, растрёпанная, простоволосая, бежала по улице, закрывая голову руками, прячась от ударов соседок.

Выскочил из переулка возвращавшийся с работы Иоганн, издали увидевший всё. Растволкал обезумевших баб, вырвал из их рук Марью, закрыл собой. Не обращая внимания на удары, подхватил её на руки, побежал к дому.

Тяжело дышащие, растрёпанные, расхристанные женщины опустили сжатые кулаки. Видели, как у ворот он поставил на землю Марью, подхватил свободной рукой сына, скрылся во дворе. Лязгнули, закрываясь, ворота.

Душное небо над головой медленно темнело, наливаясь грозовой тьмой.

Они уехали через два дня. Всё это время Марья не показывалась ни на улице, ни во дворе. Иоганн только однажды вышел, вернулся через несколько часов. Ранним воскресным утром он крест-накрест забил досками ставни дома, запер дверь. Марья, похудевшая, бледная, с заметными синяками на лице, снова замотавшая волосы чёрным платком, несла на руках сына – мальчишка испуганно прижимался к её плечу. Иоганн нёс на плече большой сундук, за спиной висел вещмешок – вот и всё имущество.

Отойдя от калитки на несколько шагов, Марья остановилась. Повернулась к воротам, сделала несколько шагов обратно. И низко, до земли поклонилась дому – большому, прочному, построенному для счастливой жизни нескольких семейному дому, из которого так нелепо и страшно ушли за какие-то несколько лет все его обитатели.

Прильнув к окнам, заборам, прячась за калитками, смотрели на это люди. Сухими глазами смотрели, провожали Марию со сжатыми губами, в гробовом молчании. А про то, что баба Аня украдкой перекрестила Марию и ребенка, сноха её Наталья потом никому не сказала.

...Несколько лет назад приехал на нашу улицу пожилой представительный иностранец, очень спокойный и немногословный, отчуждённый и нездешний в своём светлом дорогом костюме и тонких очках в золотой оправе. Он несколько раз прошёл по улице из конца в конец, присматриваясь к домам, остановился возле водоколонки. Колонка та уже два года как бездействовала – на нашу окраину провели наконец водопровод и канализацию. Спросил что-то у старой, но на удивление крепкой Светланы Васильевны, дочки Нюрки Фирсовой, сидевшей у своих ворот на скамеечке. Та указала ему на дом Семёновых... точнее, на коттедж, стоящий на его месте. Сам дом сгорел через полгода после отъезда-побега Марии и Иоганна, и долго стояло пустым пепелище, долго историю эту помнили

на улице, рассказывали вновь заселяющимся. Но потом поумирали старики, а их внукам и правнукам стало уже не так важно. Светлана Васильевна всё это помнила смутно, больше знала от матери. Нюрка говорила, что Мария писала ей из Германии... два письма прислала и посылку – леденцы, ткань на платье и несколько коробок печенья, вкусно пахнущего, с нездешними надписями, хрустящего и рассыпчатого печенья. Но Нюрка ни разу ей не ответила, и Мария писать перестала.

Господин в очках сказал, что зовут его Иоганн. Говорил он на хорошем, относительно правильном русском, только с твёрдым немецким акцентом. Видно, хорошо жил в своей Германии – холёным выглядел, нестарым совсем, богатым. Лицо грубоватое, будто из дерева вырубленное. Постоял, посмотрел в окна дома, построенного десять лет назад совсем другими людьми. А уж видел ли он на его месте тот, прежний дом, вытащил ли хоть что-то из своей трехлетней детской памяти – Бог весть. Посмотрел, сел в машину и уехал.

Да и полно, в самом ли деле это был сын Марии, певшей про соловушку? Мало ли кого как звать могут, а паспорт господин не показывал. А узнать в нём черты немца Иоганна и вовсе было некому.

Ольга
ПЕРЕВЕРЗЕВА

СТИХИ

* * *

Преимущество у будущего в том,
Что оно всегда приходит постепенно.
Ничего не пропуская, день за днём,
Ни по ком не выверяя шаг свой мерный.
Преимущество у прошлого – долги.
(Хотя, может, это больше – недостаток).
Миг назад, на расстоянии руки
Было всё. (Воспоминания – задаток).
Настоящее. Бывает ли оно?
Было – помню. Будет – верю. А меж ними?
Преимущество, наверное, одно:
Жить. И так,
как будто ты стоишь на mine.

* * *

Наверно, в этом доме до меня
Затворницей жила, храня печали,
Мечта, себя как будто хороня
От сетки дня за кружевом вуали.
Тяжёлый веер тёмных чёрных штор,
Ломавший хладнокровно лучик света,
Ещё раскрыт, наверное, с тех пор,
Как у мечты не стало цвета лета.
Квадрат картины в зале на стене.
Как странно –
только рамка – холст пустует.
Я вглядываюсь: кажется ли мне,
Что паутинки серпантин рисует?
Порядок странный чисел на часах,
Как конфетти разорванной хлопушки,
Разбросано, как будто влопыхах
Под опустевшим домиком кукушки.
Вот порванная нитка рыжих бус.
Янтарь везде – и в зале, и в прихожей.
Зачем, не знаю, пробую на вкус:
Солоноват и на слезу похожий.

• **Ольга Переверзева** родилась в 1969 г. в Беларуси. Автор короткой прозы и поэтических подборок во многих литературных изданиях. Соавтор антологии «Современная русская поэзия Беларуси» и книги поэзии молодых литераторов Беларуси «Мы – молодые». Автор восьми книг. Член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей России.

И чашка, перевёрнутая дном,
И бледный китайчонок из фарфора
Как будто спят каким-то странным сном –
Немые вещи – жертвы приговора...
За шагом шаг осматриваю дом.
Слеза – ещё чуть-чуть – и навернётся.
Вернулась я. Хозяйка в доме том.
Вернулась. А мечта вот – не вернется...

* * *

Слова под памятью хрустят,
Как снег скрипит от ног прохожих.
Воспоминанья холодят,
Дрожит душа гусиной кожей.
Стальная изморозь у глаз,
А я в них помню лета просинь.
Сезон любви от смены фраз
Легко весну сменил на осень.
Некалендарная зима,
Как вдовый шарф метель надела.
Ты – подарил, я – приняла
Сосульку – в душу, иней – в тело.

* * *

Дай пригоршню мне дней-горошинок,
Закатившихся в лузу времени.
Чутким прошлым, нежданно-прошенным,
Чудом, брошенным ложной темени.
Беспризорные – не позорные –
Дай дождевки глазам невольные,
Соль небольшую в сны узорные,
Как соборные песни дольные.
И дыханием легкомысленным
Моря чистого, мирной заводи
Окрести меня недвусмысленно
Грешным ангелом мира Гауди.
Чутким прошлым, нежданно-прошенным,
Чудом, брошенным ложной темени,
Дай любовь мне отдать, хороший мой,
Избежавшую лузы времени.

* * *

Осколки мыслей
 в брызгах слов.
Любовь? Была.
 А как иначе?
Но ничего уже не значат
Осколки мыслей
 в брызгах слов.
Обломки жизней
 в свете дат.
Кто виноват? Никто.
 Ну что же...
И грош цена теперь, похоже,
Обломкам жизней
 в свете дат.
Обноски душ
 в обёртке тел,
Остатки дел в мирке из быта,
Любовь испита
 и избита
В обносках душ
 обёрткой тел.

* * *

Их разделяют три войны.
Но кровь – не шутка-то на деле:
Иваны оба, и видны
Две схожих родинки на теле.
И Ванька-внук, когда разбит
Курносый нос шпанюю местной:
«Мне, дед, лишь родинка болит.
Мне и не больно, – скажет, – честно».
Великий Май. Парад Побед.
Под вечер все медали спрячут.
И Ванька-внук: «Где больно, дед?»
«Мне Родина болит». И плачет.

* * *

Бесшумной клятвой молчит и молится.
Безвесым телом к земле склонённая,
Косынкой смятой старушка моется,
Смывает слёзы заговорённые.

И долгим взглядом жалеет улицу,
Её прохожих: по клеткам – белками,
И редко схожих, когда не хмурятся,
И едко жадных монеткой мелкою.
В авоське с дыркой три Богородицы,
Две похоронки, портретик Сталина,
Потёртый паспорт, всё, как и водится.
Вся жизнь в авоську... на свалку свалена.
Бездомный голубь на пряник косится.
Отдаст последний. Не держат ноженьки.
А вдруг сегодня домой попросится –
И ей откроют... услышит Боженька...

* * *

И небо в лентах облачков,
Отчаянно-нарядное,
Вбирает грусть твоих зрачков,
Отрадно-безоглядную.
И слово, птицей на губах,
Тревожно-суматошное,
Нещадно тлеет впопыхах,
Непрошенно, хороший мой.
И годы, словно города,
Бессмысленно далёкие.
И мне опять, опять туда,
Где мысли одинокие.

* * *

С утра стеклянные ветра
Из хрусталя и льда разбиты.
И слиты «завтра» и «вчера»,
Где мы разъяты, но не квиты.
И болью сшиты на века,
И свиты судьбами, как вены,
Не перерезаны пока
Остроконечностью измены.
Простосюжетностью беды
Мы сбиты с ног на полузвук,
Разъяты лиги и лады,
Мы квиты равностью разлуки.
И неизбытое вчера
С утра убито безмятежно.
Звенят стеклянные ветра –
Мы разобьёмся неизбежно.

* * *

Я буду плакать дождя не громче,
Неярких радуг роняя блёстки.
И буду звать тебя ночи звонче
Земли и неба на перекрёстке.
Я буду помнить времён не дальше
Неданность слов нам кричащей выси.
И буду ближе мечты и фальши.
Ты будешь, милый, не дальше мысли.

* * *

Все твои хитрости, бантики, кружева,
Ямки и впадинки, бусинки родинок,
Тайны гаданья на ряженных-суженых
И суеверия, верные вроде бы...
Где твои лёгкие яркие платица
И легкомысленно беличьи стрелочки?
Вдруг-не-счастливая. Годы покатаются
Женскими судьбами. Взрослые девочки...

* * *

Печаль не ранит, но старит.
Стирает пыль песочных полок.
Осколок сердца не болит –
В душе зашит комком иголок.
Песок струится сквозь песок,
Где тихий крест чуть за порогом,
И от судьбы на волосок
Проходит жизнь усталым богом.
И путь не долог, но далёк.
И вечный скарб пустых котомок.
И одинок! Как одинок
В своём безверии потомок...

* * *

У этой хрупкой тишины
Не будет имени. Всё канет.
На перешёптыванье тьмы
Случайный ангел к нам заглянет.
И златокудрою главой,
Едва ли зримо-различимый,
Кивнёт тихонько нам с тобой,
Коснётся рук неразлучимых.

Я благодарно улыбнусь,
Сожму ладонь твою, любимый.
Когда однажды не проснусь,
Ты будешь ангелом хранимый...

* * *

...Ей за ушко заложить прядь,
Непослушных завитков лён,
И неловко поясок мять,
Робко выдохнув: «Я влюблён!»
Осторожно сквозь фаты дым
Подсмотреть слезу родных глаз
И уехать ночью с ней в Крым,
И кричать с гор: «Я люблю Вас!»
И тихонько унести спать
Из-под ёлки в Новый год дочь.
И царицей до утра звать
Ту, что шепчет: «Я – твоя», – в ночь.
Ей за ушко заложить прядь,
Побелевших завитков пух,
В нос целуя, ей очки снять
И читать всё о любви вслух.
И прожить с ней, как один вдох,
Много жизней – как один день.
Она скажет вдруг: «Ты – мой Бог».
Улыбнёшься: «Я – твоя тень».

* * *

Не осталось иллюзий,
Лишь свет на ладони,
Преломленье стекла
В углублении линий,
В переливах сплетений,
В лучах на иконе –
Жизнь втекла-истекла,
Словно неба цвет синий.
Не осталось сомнений,
Лишь свет, в даль манящий,
Ультразвуки души,
Вечно склонной к потере.
Но осталась надежда:
Идущий – обрящет,
Обнажённой душой
Прислонившийся к вере.

* * *

Не бывает совпадений.
Всё бывает – как быть может.
Пуля – дура без сомнений,
Но без пуль – не подытожить.
Не бывает лжи во благо.
Утопающий – утонет.
Равнодушная бумага
Не краснеет и не стонет.
Даже судеб не бывает.
Жизнь дана – уже ты выиграл.
Бог о будущем гадает?
Чёрта с два – ты сам всё выбрал.
Устных денег, мёртвой веры
И любви наполовину –
Не бывает полумеры.
Аспирин – от гильотины?
Уповая лишь на чудо,
Жизнь в сторонке прозябает.
Как удобно полулюду
Верить в то, что всё бывает.

* * *

Я русской группы крови,
И это повод драться,
Но с теми, кто мне вровень,
И сильных не бояться.
Я русской тёмной веры
В «авось» и во спасенье,
В наследие шумеров,
Христово Воскресенье.
Я, как медведь в берлоге,
Заспавшийся до дури,
Махну на те дороги,
Где дураки да бури.
Я русская по сути
Мудрёно-мрачноватой,
Где черти в тихой мути
И хлеб горячий – святой.
С судьбой сто раз поспорив,
Сменив царей – на свыше,
Я русская по крови!
И это повод выжить!

Сергей
ЮДИН

ДЕМОНЫ АМАСТРИАНА*

Рассказ

* * *

Сорок долгих лет минуло с той поры, но ни одной живой душе не смел поведать я об этих достойных удивления событиях. Ни один смертный не знает всей правды о том, что видел я ночной порой, стоя возле фиалы зловещего Амастриана, и, думаю, никогда не узнает при моей жизни. Ибо чувствую я, как с каждым мгновением стремительно сокращается срок моего земного бытия, как разрушается моя плоть и слабеет разум, так что навряд удастся мне окончить сию повесть до того, как Ангел Господень восхитит душу раба Божьего Феофила, навеки покинувшую тварную оболочку, и, уж конечно, читателей её смогу я лицезреть лишь с горних высот и из-под сладостной сени кущ небесных.

И хотя дрожит уже стило в руке моей, а смертная пелена застилает глаза, заставляя строки на пергаменте расплываться, постараюсь я, сколь смогу, продлить повествование и рассказать вам, что случилось со мной и другими после той исполненной соблазнительных видений ночи.

Итак, остановлюсь вначале на судьбе товарищей моих, ибо каждому из них была уготована своя, отличная от прочих доля.

Петр Трифиллий, счастливейший из них, продолжая подвизаться в финансовом ведомстве, в скором времени был почтен саном спафария, а спустя девять лет, когда начальник и покровитель его – логофет геникона Никифор попущением Божиим и неисповедимыми судьбами, по множеству грехов наших сверг с престола благочестивейшую августу Ирину и был венчан в святой Софии патриархом Тарасием на царство, достиг званий логофета стратиотской казны и хартулария сакеллы, стал патрикием и главой-парадинастевонтом императорского Синклита. После смерти Никифора Геника – бессменно служил в той же должности императорам Михаилу Рангаве, Льву Армянину и Михаилу Травлу, покуда не помер из-за внезапного прилива крови к голове, опрометчиво помывшись в бане сразу вслед за обильной трапезой.

Григорий Камулиан, сын патрикия Феодора, также недолго пребывал в безвестности, ибо приглянувшись своей красотой

Окончание . Начало см. в №1(35) 2018 г.

• **Сергей Юдин**, москвич. Повести и рассказы публиковались в российских и зарубежных журналах: «Искатель», «Зеркало», «Русская мысль», «Северо-Муйские огни», «Золотое руно», «Изящная словесность» и др., а также в сборниках «Святоточные рассказы, XXI век» (2010), «Тёмные» (2016).

государю Никифору Генику, был приближен им к себе, удостоен сана дисипата и положения личного секретаря-мистика при особе императора, однако вскоре после гибели сего монарха оказался в опале, подвергся ослеплению, урезанию языка и окончил свои дни в заточении.

Проексим Николай Воила храбро и успешно воевал в Венецианском дукате, когда правитель оного попытался отложиться от Ромейской империи и предаться архонту Италии Пипину, дослужился до звания стратига Сицилии и спустя несколько лет погиб в сражении с франками за Далмацию и Истрию.

Кто о них помнит ныне, кроме меня?

Арсавий Мономах, единственный из них жив и здравствует по сию пору, но пути и дела его скрыты от нас, простых смертных, ибо, то пребывая в качестве посла-василика при дворах различных европейских властителей, то выполняя иные тайные поручения венценосцев в отдалённых частях нашей империи, он постоянно окутан некоей тайной – неизменной спутницей большой политики – и стремится держаться в тени.

Увы! Так проходит слава земная! Что остается от человека в этом мире после неизбежного физического распада? Только щепотка праха и недолговечная память немногих знавших его. Стоит ли такая малость тех воистину титанических усилий, кои мы прилагаем в своем неуёмном стремлении к власти, известности и почестям? Сказано: нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

В юности, во времена моей прежней увлечённости халдейской премудростью и астрологией, я свято верил в учение древних о том, что ежели, к примеру, луна находится в период восхождения Пса в знаке Льва, то будет большой урожай хлеба, оливкового масла, вина, всё будет дешёво. Случатся смуты и убийства, воцарение нового императора, мягкая погода, набег племян друг на друга, землетрясения и наводнения. Когда же луна в это время в знаке Девы, то выпадет много дождей, будет веселье, смерть рожениц, дешевизна рабов и скота. Если же Пес взойдёт, когда луна в знаке Козерога или, хуже того, Скорпиона, то жди передвижения войск, смуты среди священства, множества казней, мора на пчёл, нашествия саранчи, засухи, голода и чумы.

Я не подвергал ни малейшему сомнению слова Зороастра, рекомендующего тщательно наблюдать, в каком доме Зодиака находится луна, когда гремит первый в году гром, ибо если оный ударит во время её нахождения в знаке Овна, то это предвещает, что в сей местности люди будут сходить с ума, но придёт гибель на арабов, в царском дворце случится радость, в восточных же областях – насилие и голод. Случись же ему прогреметь, когда она пребывает в знаке Девы, то неминуемы заговоры властителей против императора, обрушится на него хула и непристойное пустословие, с востока появится другой император, который завладеет всей Вселенной, будет изобилие плодов, смерть прославленных мужей и прибыль овец.

Ныне же, с высоты прожитых лет, я полагаю, что звёздам мало дела до нас и наших скорбей и радостей. Что Плеядам или Ориону до урожая маслин в Ливии или Киликии? Как их могут трогать судьбы свинопаса или препозита священной спальни? Мириады людей успели родиться и умереть, а вечные светила по-прежнему на своих местах, и движение их подчинено лишь воле и закону Соз-

дателя, и никак не соотносено с нашими жалкими делами и помыслами. Сказано: что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и ничего нет нового под солнцем.

Но вернусь к своей повести. Сразу после той памятной ночи решил я отрясти мирской прах с ног своих и всецело посвятить остаток жизни деятельному раскаянию, сиречь, служению Господу нашему Иисусу Христу. Распродав имущества и обратив всё имущество в звонкую монету, принялся я подыскивать монастырь или киновию, где бы возможно было поселиться и предаться умерщвлению плоти и молитвам о спасении души.

Первоначально, исполнившись смирения, вступил я под гостеприимный кров монастыря Пиги – Живоносного источника, в особенности прельстившего меня уединённостью своего местоположения, ибо находится он за стеной Феодосия, то есть вне городской суеты. Всё здесь вполне соответствовало, на мой взгляд, святости места: густая кипарисовая роща, луг с мягкой землёй, покрытый яркими цветами, сад, в изобилии приносящий плоды всякого времени года, и сам источник, спокойно бьющий из глубины земли чистой и вкусной водою.

Приняв после трехмесячного послушничества постриг, я прожил здесь семь лет.

Принужден, однако, сказать, что бытие сей обители оказалось на поверку весьма далёким от того идеала, который рисовался мне в воображении и к которому стремилось моё сердце. Населявшие его иноки (числом до семидесяти) более уделяли внимания ежедневным телесным трудам в саду и поле, чем посту и молитве, и сильнее озабочены были удовлетворением нужд физических, нежели нравственным совершенствованием собственных душ.

В монастыре имелись скрипторий и довольно обширная библиотека. Но что за книги хранились в этой библиотеке и переписывались братьями в скриптории! Все те сочинения, которые Феодор Присциан рекомендовал в своё время в качестве подбадривающего и возбуждающего средства страдающим любовной немощью, теснились на полках доступного всякому хранилища: сладостно написанные повести Филиппа из Амфиополиса, Геродиана, Ямвлиха и сравнительно невинных Харитона, Ахилла Татия, Гелиодора и Ксенофонта Эфесского соседствовали с нескромными «Милетскими сказаниями» Аристида и непристойными измышлениями Апулея и Петрония. Мог ли подобный подбор книг содействовать заботам об укрощении плоти?

Усугублению соблазна способствовало и проживание в обители большого числа безбородых отроков и евнухов, как принятых туда для исполнения различного рода подсобных работ, так и находящихся в услужении у отдельных иноков. Кроме того, значительное количество мальчиков постоянно пребывало при начальнике скриптория для обучения грамоте, Псалтыри и литургической премудрости. Удивительно ли после сего то распространение скоромного зла, проявлениям коего я не однажды сам был невольным очевидцем во время еженедельных посещений монастырских терм?

Все это весьма тяготило и смущало меня до того, что иной раз на целые месяцы затворялся я в своей келии, пытаюсь уподобиться тем анахоретам и святым подвижникам, которые искали спасения в уединении и помощи в борьбе с плотью и греховными страстями в отшельничестве. Однако и такие меры не вполне уберегали меня от соблазнительных мук плотского искушения, ибо, сколь ни

старался, никак не мог я достичь святости тех прославленных мужей, что и среди обнаженных блудниц и блудодеев имели силу ощущать себя словно бесчувственное полено среди поленьев.

Потому то, едва прослышав о духовных подвигах и похвальном религиозном рвении славного игумена Феодора, который как раз в то время покинул Саккудион и, обосновавшись в столичном Студийском монастыре, занялся преобразованием онога в образцовую общежительную киновию, я тотчас поспешил перейти в эту обитель, где и пребываю по сию пору и надеюсь окончить свои земные дни.

* * *

Порядок строгой и воздержанной жизни, установленный игуменом Феодором Студитом, был особенно суров по сравнению с тем, к которому я привык в монастыре Пиги. Достаточно сказать, что употребления мяса всем инокам было совершенно запрещено, кроме дней, на которые приходились великие праздники. Так же, во весь период от Пасхи до Пятидесятницы служители подавали нам лишь хлеб, варёные овощи, тушёные с оливковым маслом бобы, густой суп из трески, сыр и яйца. Запивать всё это позволялось тремя чашами настоящего на травах вина. То же полагалось и к вечерней трапезе. Во время поста воздержание бывало ещё строже, ибо пищу мы вкушали только раз в день и то самую скудную: чечевичную похлебку, солёную рыбу без масла, измельчённые орехи и, изредка, сушёные фиги, запивая трапезу несколькими чашами анисового вина, с добавлением тмина и перца.

Игумен ревностно заботился о безусловном соблюдении отеческих преданий и древних уставов святых Пахомия и Василия Великих. И это выражалось не только в том, что самим монахам не позволялось без особой нужды выходить в мир, но также и в том, что проход за ограду обители был строжайше запрещён не одним лишь особам женского пола, но и всякому безбородому: будь то отрок или евнух. Даже спать нам было предписано настоятелем в одной общей спальне, дабы при постоянном общении менее совершенные из нас могли подражать более совершенным и все были явны всем.

Занимаясь большей частью молитвой и чтением божественных писаний, часы которых бывали правильно и точно распределены, все мы не пренебрегали и физическими трудами. Но и во время работ по хозяйству или занятий какими-либо ремёслами никто из братьев не прекращал молитвы, ибо она – самый благоуханный и приятный для Господа фимиам. Когда же кто-то из иноков принуждён был с дозволения игумена выйти из монастыря, так должен был соблюдать приличествующую ему скромность, не говорить лишнего, не поднимать глаз, особенно при встрече с женщинами, но идти с молитвой и с опущенными долу взорами.

Прочтя это, вы поймете, сколь тяжек крест, который я добровольно взвалил себе на плечи ради очищения духовного. И если, став спустя двадцать шесть лет сам настоятелем сей знаменитой киновии, я предоставил братьям некоторое небольшое послабление в потреблении вина и мяса, так это объясняется лишь явной чрезмерностью подобной строгости для большинства из них, ибо недостаток сих продуктов пагубно действует на здоровье и разум, необходимые для еженощных молитвенных бдений и подвигов благочестия.

Между тем, демон похоти ни на миг не оставлял меня и в Студийской обители, отравляя не только мои ночные часы, но и являясь с присущей ему наглостью даже во время молитвы в храме. Чаще всего он принимал облик нагой женщины соблазнительно распутного вида, которая призывными знаками и недвусмысленными движениями тела (в особенности, бедер) старалась уловить мою душу в сети греха. Впрочем, иногда он предстал в ином образе. Так, раз демон вышел ко мне прямо из алтаря в виде кривоногого карлы, потрясающего приапически измененным фаллосом. Другой раз я встретил его в трапезной под личиной некоего гермафродита, безобразно сочетавшего в себе признаки женского и мужского естества (и только прочитав «Трисвятое» и приглядевшись, я узнал в сём чудище нашего смиренного отца-эконома). Не однажды блудливо подмигивал он мне из пламени горящих лампад и светильников, многократно похотливо ухмылялся со святых ликов, а как-то на Троицу пробрался на моё непорочное ложе и всю ночь терзал меня отвратительными ласками, так что спавший со мною рядом инок Пафнутий, разбуженный моими стонами, решил было, что в соседа его вселился дьявол!

Не умолчу и об ином, едва ли не страшнейшем искушении, постигшем меня на девятом году пребывания в сей киновии. Случилось это осенью, аккурат в канун дня святого Димитрия Фессалоникийского, когда вся братия с большим усердием готовилась к предстоящей всенощной, стремясь очистить душу и помыслы свои от малейшей скверны и наималейшего нечестия. Перед самой службой уединился я с той же целью в малой келии и предался благодатной молитве, простершись ниц пред пречистым образом Пантократора, умиленно прося Господа ниспослать мне покой и избавление от злобных искусов отца лжи и обмана. И вот, едва я воззвал к Творцу Всего и вперил очи свои в Неисповедимое, как постигла меня странная немочь и расслабление необыкновенное, так что я даже пал ниц и забылся в странном беспамятстве, самую смерть напоминаящем: члены мои одеревенели, язык онемел, и сознание, казалось, едва продолжало теплиться в сём убогом подобии образа Божия. Однако же я знал, что жив, ибо чувства мои, напротив, чрезвычайно обострились, а самый дух словно бы воспарил в некие сияющие горние высоты!

Казалось мне, что, словно поднятый невидимыми крылами, вознёсся я над лазурными волнами Пропонтиды, и потоки ветров повлекли меня на север. Бесчисленные острова Мраморного моря промелькнули подо мной в предрассветных сумерках и исчезли, и вот, наконец, сам дивный город – величественный Константинополь – явился моему взору как бы с высоты полёта птицы.

Сумеет ли язык мой описать всё великолепие представшего передо мной царственного града – богохранимой и богооберегаемой царицы городов, солнца всей империи, сияющего богатством и славою!

Ибо один только и есть на свете такой горделивый град, око Земного круга, блистательная звезда и украшение Вселенной, светильник мира и общая пристань веры. Город, выдающийся преславным синклитом и множеством мудрых мужей, где процветают состязания наук и образцы всех добродетелей, величие и красота храмов, драгоценных облачений и утвари, торжественность божественных служб.

Где ещё, в каких частях Востока и Запада возможно сыскать подобный ему? Какой из городов сравнится с сим Новым Римом – высшей опорой и средоточи-

ем православия, столицей ромейской державы, о которой возносит ежедневные моления Церковь!

О счастливейшая из митрополий Земли! О Новый Иерусалим, из которого исходит всё прекраснейшее, всё спасительное и всё благое, в коем василевсы самовластно царствуют и скипетры самодержавной власти самодержавно содержат! Ты единый осенён спасительным омофором Пресвятой Богородицы и храним Ею от всех недругов, ибо никогда ещё не были поруганы неприятелем твои великолепные церкви и мраморные дворцы, и не раз полчища разноплеменных варваров в ужасе отступали вспять, едва завидев три ряда стен и полтысячи башен Константинова града.

Подобно сказочной жемчужине блистаешь ты в оправе голубого моря и изумрудных рощ, окаймляющих береговые бухты. И не единожды я слышал из уст варваров, что не увидев собственными глазами, едва ли возможно поверить, будто может существовать на свете столь богатый город – верховный над всеми!

Пять больших и пять малых ворот ведут со стороны суши внутрь столицы. Каждые из этих ворот сами представляют собой неприступную крепость: защищённые мощными восьмиугольными башнями, глубокими, обложенными камнем и наполненными водой рвами... Да, впрочем, возможна ли самая мысль о взятии Вечного города?

Но что это? Отчего видение вдруг совершенно и столь страшно изменилось? Царственный город от Влахерн до Кикловия, от Золотых ворот до врат Ксилопорта обложен бесчисленной неприятельской ратью, Золотой рог подобно рыбному садку кишит вражескими дромонами, и вся Фракия содрогается от тяжёлой поступи иноплеменных полчищ, от грохота и скрипа влекомых быками повозок! Да и самый город являет собой разительную картину опустошения: некогда неприступные стены со стороны суши проломлены во многих местах, четыре башни в долине Ликоса разрушены совершенно и наспех заделаны мешками с песком и бревнами, ворота святого Романа лежат в руинах...

Рассвет ещё не занялся, и первые лучи солнца ещё не позолотили крест на святой Софии, но было заметно, что стоит самое начало весны: я чувствовал, что Босфор едва успел утихнуть после неистовых зимних штормов, а из городских садов уже доносился сладкий аромат зацветших фруктовых деревьев. Из темнеющих кущ слышались соловьиные трели, и в небе тянулись караваны перелётных птиц, направляющиеся к летним гнездовьям на далеком севере... Близилось раннее, туманное утро... В этот самый момент пение петухов раздалось из дворов, пронеслось из улицы в улицу и достигло неприятельского стана. Вдруг ужасный грохот потряс воздух и пробудил эхо на далёком пространстве. С замирающим грохотом смешались воинственные крики, исторгнутые мириадами уст, чёрные толпы всколыхнулись и под оглушающий бой барабанов, звон цимбал и вой боевых рогов ринулись на приступ!

Трепет объял меня, когда я увидел, как первые ряды варваров проворно соскользнули в ров и принялись поспешно ставить тысячи лестниц к стенам и с воплями бросаться в многочисленные бреши. Ужасно было наблюдать при бледном предутреннем свете луны эти густые колонны, которые подобно яростным волнам разбивались о стены, подавались назад и, гонимые нещадными ударами плетей и дубин, опять, с новой силой ещё выше взлетали по лестницам. Мало-

численные защитники с мужеством отчаяния бились в проломах, металы со стен в густые толпы осаждающих град камней, стрел и широкие струи убийственного греческого огня, но враги вновь и вновь, не считаясь с огромными потерями, под дикую призывную музыку труб и грохот барабанов бросались на стены и заграждения, карабкались на плечи друг друга, тшась зацепиться лестницами за верхние зубцы протейхизмы и взобраться по ним наверх. В мечущихся отблесках факелов, в клубах дыма, то и дело заволакивавших всё вокруг, трудно было разобрать, что происходит. Но вот некое неподдающееся описанию, огромное и сверкающее бронзой чудовище, что высилось посреди неприятельского стана, издало громоподобный звериный рык, извергло из пасти устрашающую струю огня и дыма, и тотчас несколько стадий наружной стены близ ворот святого Романа обратились в прах, а в воздух поднялась целая туча камней и пыли! Густые толпы варваров тут же ринулись в этот новый пролом и с победными криками ворвались в пределы города.

Я мнил уже, что всё кончено, как вдруг навстречу им устремилась горстка ромеев под предводительством воина, в коем по наброшенному поверх лат пурпурному сагиону можно было узнать императора. И вновь враги были отброшены в ров, а христиане, подбадривая друг друга радостными возгласами и сплотившись вокруг императора, принялись в спешке восстанавливать разрушенные укрепления. Однако прежде чем они успели хоть что-то поправить, град камней, стрел и прочих метательных снарядов обрушился на них, а следом показали и, сопровождаемые дикими завываниями боевой музыки, немедленно двинулись на штурм новые, ещё более многочисленные колонны варваров...

Тут зрение мое чудесным образом как будто раздвоилось и, в то время как перед глазами у меня по-прежнему продолжался этот неравный бой, я неожиданно увидел, как в самом углу Влахернской стены, там, где она соединяется с двойной стеной Феодосия, открывается маленькая потайная дверца, расположенная почти на одном уровне со дном рва, и в неё один за другим проникают варварские воины. И вот уже, перебив немногочисленную стражу, подобно пчелиному рою облепляют они ближайшую башню и выставляют на ней копьё с конским хвостом. Неистовыми воплями восторга тотчас огласился весь неприятельский стан, и вскоре уже целые толпы супостатов хлынули в город через роковые ворота и, устлая свой путь трупами, подобно реке в половодье, принялись растекаться по улицам.

Картины, одна страшней другой, замелькали у меня перед глазами с быстротой необыкновенной: вот император, вскочив на коня, бросается с мечом в руке в гущу варваров и исчезает в массах захлестнувших его орд! Вот тысячи полуодетых женщин и детей бегут по улицам, как будто случилось вдруг землетрясение, лишило их крова и свело с ума от страха. Крики ужаса и вопли отчаяния несчастных христиан несутся к небу, мешаясь с восторженными криками нечестивых победителей, которые, не насытившись ещё боем и не утолив жажду убийства, ровно скот режут всех подряд, так что вскоре уже целые потоки крови струятся по крутым улицам Константинополя и широкими ручьями низвергаются с холмов Петры в Золотой Рог! Чёрными столбами возносятся ввысь густой дым от сжигаемых монастырских библиотек и храмовых святынь...

Внезапно я оказался около Харисийских ворот, и взору моему явилось очeredное видение: варварский стратиг на белом сарацинском скакуне, в сопро-

вождении надменных архонтов и рослых телохранителей торжественно вступал в завоёванный город. Медленно, в полном молчании проехал он по залитым кровью улицам поверженного Константинова града, остановил коня на Августеоне и, спешившись пред самыми воротами святой Софии, неторопливо ступил в поруганный храм.

Невидимый для окружающих следовал я за ним, пытливо вглядываясь в облик сего воителя, ибо казался он мне смутно знакомым: голова его была покрыта большим тюрбаном, закрывающим лоб до высоких дуг бровей, под которыми выделялись глаза с пронзительным взором и тонкий крючковатый нос, нависающий над полными, яркими губами сластолюбца. Черты лица его напомнили мне, почему-то, попугая, приготовившегося клевать спелую вишню.

С трепетом и отвращением к творимому святотатству наблюдал я, как взошёл он на амвон Великой Церкви и, схватившись за раздвоенную бороду свою, принялся что-то бормотать на незнакомом мне варварском наречии, несомненно вознося великую хулу на Господа! И в сей же миг, будто поражённый отравленной стрелой, в великом страхе отшатнулся я прочь, ибо вдруг узнал в оном святотатце того самого нечестивого сына пустыни из недоброй памяти фускарии Домна!

Да, несомненно, это был тот самый агарянин: всё те же сверкающие нестерпимым алым огнём глаза, тот же похожий на клюв хищной птицы нос... Нет, вовсе не на попугая походил он, но на стервятника, лакомящегося мертвечиной!

Неожиданно пылающий адовым пламенем взор его обратился прямо на меня, кровавые губы раздвинулись, острые зубы хищника ощерились в жуткой ухмылке, и, простерши ко мне руку с униженными дорогими перстнями пальцами, он заговорил. Голос же его был подобен рычанию зверя, шипению змеи и карканью ворона:

– Смотри, монах! Смотри на сей Вавилон, одетый некогда в виссон, порфиру и багряницу, украшенный золотом, камнями драгоценными и жемчугом. Видишь дым от пожаров? Слышишь сей плач и стоны, эти вопли и стенания? Знай же, пройдёт ещё шестьсот и пятьдесят лет и переполнится мера терпения твоего Господа! И исполнится всё виденное тобою ныне, и падёт великий град, царствующий над земными царями, падёт и навеки соделается жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу! Так возрыдай же, монах, с плачем ударяя себя по бёдрам, ибо наострен уже меч Востока на заклятие ромеев и вычищен для истребления христиан!

В безмолвном ужасе внимал я словам сего беззаконного создания, ибо язык мой словно прилип к гортани. Всё так же усмехаясь, глядел он на меня, а затем заговорил вновь, но голос его был теперь как будто полон жалости и сострадания:

– А сейчас скажи, монах, готов ли ты ныне за спасение сего града отдать мне нечто уже некогда обещанное тобой? Дабы не наступило время его, и не был бы он отдан на посмеяние народам и на поругание всем землям, а голова последнего василевса не красовалась бы на вершине порфирной колонны форума Августеон? Знай, в моих силах продлить славу Империи до конца времён! Или мнишь ты, что всё оное недостойно твоего спасения? Такова ли гордыня твоя? Ответь мне, монах!

Вострепетав в смертном страхе, с отвращением отпрянул я от коварного искусителя, троекратно осенив себя крестным знаменем, он же засмеялся злобно и произнёс нечто загадочное:

– Да будет так! И пусть паук плетёт свои тенета в палатах кесарей, и сова несёт дозор под сводами Афрасиаба!

И едва отзвучали эти таинственные слова, как образ демонического воителя стал меркнуть, само видение затуманилось, будто подёрнувшись кисейной пеленой, а затем и исчезло вовсе, я же вновь оказался пред образом Пантократора в малой келии нашего монастыря.

Неудивительно, что разум мой был смятён до крайности сим мороком. Сомнения тяжким грузом легли мне на сердце и смутили дух. Однако, поразмыслив, я понял, что отнюдь не божественное вдохновение посетило меня, но, напротив, диавол вновь пытается уловить меня в свои сети, добываясь заполучить мою бесмертную душу, насылая подобные искусы и помрачения рассудка.

С этого времени, вполне отдалившись от мира, затворился я в строгом уединении тесной келии, где божественная медитация, внутренняя молитва и ненарушимое молчание стали моим уделом.

Спустя три года, проведённых мною в таковых духовных упражнениях, я с превеликой радостью возблагодарил Господа, ибо почувствовал, что бесовское наваждение почти вовсе оставило меня и всеразличные демоны прекратили то и дело являться на мои глаза, разжигая низменную чувственность, пагубные вожделения и неуместную для инока гордыню. Воистину нет предела милосердию Божьему к покорным воле Его и послушным велениям Его!

Тебе же, читающему сию повесть, коли ты страдаешь от подобных напастей или желаешь совершенства духовного, могу посоветовать следующий чудесный способ, которому я научился за годы своего уединённого безмолвничества: заперев двери, сядь в углу келии твоей и отвлеки мысль твою от всего земного, тленного и скоропреходящего. Потом положи подбородок на грудь свою и устрями чувственное и душевное око на собственный пупок. Далее, сожми обе ноздри так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами приблизительно то место сердца, где сосредоточены все душевные способности. Сначала ты ничего не увидишь сквозь своё тело, но когда ты проведёшь в таком положении день и ночь, а затем ещё два дня и две ночи, то – о, чудо! – ты увидишь весьма ясно, что вокруг твоего сердца распространяется божественный свет!

Это – начало пути, который должно совершать в страхе и истине, непрестанно укрощая своё тело с помощью поста, облачась, как в далматику, в смирение и сияя от радости в молитвах. При этом будь незлобивым, незаносчивым, не суди, не порицай и не злословь.

Крепка моя надежда на то, что спасение – в благочестии, а его же можно достичь, став сострадательным, возлюбя бедность, отшельничество, поощряя молчание, стойкость в воздержании, постоянство в унижении, и тогда возвеличит тебя щедрый Господь пред ликом всех своих святых.

Верую я, что, как и возвестил нам в своем откровении святой Афанасий, каждый благочестивый иннок после смерти будет восхищён к Господу и Престолу Его, где даруются ему шесть белоснежных крыл, покрытых очами, и станет он в облике светозарного серафима, стоя одесную Владыки среди неисчислимого небесного воинства ангелов, начал, сил, властей, престолов и господств Его, вечно воздавать хвалу единому Творцу всего сущего!

Благочестивым же, говоря правду, вполне могу именоваться, ибо ныне я воистину нищ духом, сокрушён сердцем и вот уже сорок лет, как печалюсь и скорбя о

былых грехах своих, чуждаюсь вражды, гнева, зависти, тщеславия, самонадеянности, чревоугодия, гордыни, распутства, содомии, скотоложства, рукоблудия и, наипаче, всепоглощающего пьянства (за что в особенности приходит гнев Божий на сынов противления)!

Знаю я – расточится как снег под солнцем предсказание ужасного Тельхина, ибо нет уже над рабом Божьим Феофилом власти тех демонов, что явились ему ночной порой сорок лет назад на проклятом Амастрианском форуме...

Ведомо мне... Но слабеет рука моя, меркнет разум, как огонь в светильнике, в коем закончилось масло... Странные тени бродят по стенам моей кельи... то, верно, зрение подводит меня...

Близок конец... гордой радостью и предвкушением грядущего блаженства наполняется моё сердце... Гряди, Господи! Се, раб Твой! Вот он – я – пред лицом Твоим!

Уже скоро... Чувствую, как разрушается тленная плоть моя, как замирает ток крови по жилам, путаются мысли... медленно угасает сознание... Постой, Господи! Дай увидеть всё своими глазами... Позволь воочию узреть Ангела Твоего, коего пошлешь за мной!

Вон там... в самом углу келии, под образом Пречистой... Ей, Господи! То – Твой горний посланник! Вижу, вижу, как появляется он в дрожащем свете лампы... но отчего он чёрен, будто эфиоп?.. Почему глаза его горят подобно угольям, из ноздрей валит дым, а рот изрыгает пламя?.. Зачем в ушах моих звучит этот дьявольский хохот... и словно могильные черви заживо гложут моё тело!.. И снова эти ужасные слова: «И стечёт плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и разрушатся и распадутся все его сочленения, и кости его осыплются в преисподнюю!»

...Крылья его подобны крыльям нетопыря... и эти рога... Боже! Боже мой! Для чего Ты оставил меня!?..

На этом обрывается рукопись преп. Феофила Мелиссина, игумена Студийской обители.

Егор
ПЕРЦЕВ

СТИХИ

* * *

Куда-то во мрак убегает дорога.
И то ли себя я ищу, то ли Бога.
Чем дальше иду, тем дорога темней...
Где в вечности я, и где вечность во мне?

Услышь меня, вот я, с душою нагою...
Но нет мне ответа. Нет мне покоя.

ПЕРВОЗДАННЫЙ Я

Земля полна несбывшеюся былью.
Я соль земли, развеянная пылью.
Земля моими судьбами полна.

Везде мои следы, мои приметы.
Я всюду был и позабыл об этом,
Но почва повсеместно солон.

Мне дорого, чему уже не сбыться.
Я по земле ищу себя частицы,
И надрывается душа, скорбя,
Пока не соберется воедино.
И я пытаюсь воссоздать картину –
Картину первозданного себя.

* * *

Вновь пейзажи скудные,
Станции безлюдные
И пустой вагон.

Русь кривыми избами
Смотрит с укоризною.
Глушь со всех сторон.

Не смотри, пожалуйста,
На меня так жалостно –
Нет моей вины

• **Егор Перцев** родился в 1991 г. в г. Олонец Республики Карелия. Окончил Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского. Учитель начальных классов в школе «Класс-центр» (Москва). Стихи публиковались в журнале «Север». Лауреат литературного конкурса «Северная звезда» (2011). Живёт в Москве.

В том, что нет спасения,
В том, что мы рассеяны
И разобщены.

Редкие селения.
Хоть на возвышение
Встанешь в полный рост,
Лишь поля раскинутся,
Но жилья не видится
На десятки вёрст.

Ты здесь гость непрошенный,
И в траве некошенной
Зарастает след.

Безнадёжно тонущий
Закричишь о помощи,
Крикнут ли в ответ?

НЕДОНОСОК

В небе яркие вспышки огня.
Полыхают над лесом зарницы.
В этот час ты увидишь меня
В небе, кем-то похожим на птицу.

Далека и незрима земля...
Ослеплённый небесною пылью
Я почти забываю, что я
Недоносок, придумавший крылья.

Забываю про чувство вины,
Чувство долга в себе заглушаю –
Так мне кажется небо родным,
А земля мне навеки чужая.

Но чуть выше пытаюсь взлететь,
Я на землю опять буду сброшен,
Чтобы знал, чтобы помнилось впредь –
Я для неба, увы, недоношен.

В небе гневные вспышки огня.
Слышишь, грома вдали отголоски?
На земле ты увидишь меня –
Обессиленного недоноска.

* * *

Вода темнеет осенью в глуши,
И горечью полны рябины кисти,
Слышнее колебанья мёртвых листьев
И колебанья собственной души.

Тропа к реке, приметная едва,
В траве, дождём размытая, петляет.
И пусть вокруг природа увядает,
Но оживают мёртвые слова:
Когда короткий вечер на исходе,
Приходит ночь, промозгла и тиха,
Ты в ней откроешь сердце для мелодий
И в ней пробудишь душу для стиха.

* * *

Закричит в лесу ночная птица,
Затрещит костёр на берегу.
Эта ночь застынет и продлится,
Сколько я продлить её смогу.

Остывает и свежеет воздух,
Кроны шелестят на дне реки.
Я в воде захватываю звёзды,
Пью созвездья прямо из руки.

Эта ночь вовек благословенна,
Ведь во мне отныне навсегда
Вместе с кровью протекает в венах
Звёздная небесная вода.

* * *

На семи безымянных ветрах я стою,
И мороз пробегает по коже.
То слагаю стихи, то молитву творю,
Что, наверно, одно и то же.

И такая накроет меня глубина
Ледящего душу пространства,
И взволнует она и напомним она:
Только в ней обретёшь постоянство.

И ни скрипа стволов, ни стона вершин
Не доносит до чуткого слуха.
Ты бредёшь по пространству, где нет ни души,
Очарованным странником духа.

СУМЕРКИ

Приглашаются краски, кончается день,
Гаснет всё, что тревожно и суетно.
За спиной встает Боратынского тень
И мерцанье глубокое в Сумерках
Самой дальней галактики дальней звезды...
Свет незримый струится и падает.
И детали уже не важны, не видны,
Не пугают меня и не радуют.

Им уже не встревожить меня, не отвлечь,
Если в Сумерках видно мерцание,
От которого слышится горняя речь
Мироздания.

НОЯБРЬ

1

Ни о чем уже не говоря,
Медленно качаются деревья.
Мрачно, как раскольничьи поверья,
Небо в середине ноября.

И земля не менее мрачна,
Где ни счастье, ни покой, ни воля
Не живут. И боль здесь не страшна,
Как страшна невыразимость боли.

Потому и спать не вмоготу.
И в своей горячке бесполезной
Не закончишь к самому утру
Разговор в одну калитку с бездной.

Я б покинул этот дом пустой,
Но размыло ливнями дороги.
И на дно чернеющим листом
Тянут безутешные итоги.

2

Ночь бесконечно, промозгло и тягостно длится.
Чёрным пространством сжимается свет фонаря.
Выйдя на улицу, сможешь навек заблудиться
В пропасти всепоглощающего ноября.

Звёзды горят, но какая из них путеводна?
Может, то звёзды погибшие смотрят на нас.
Ветер крепчает, сгущается воздух холодный.
Сумраку сдавшись, фонарь поморгал и угас.

В доме пустом со свечою нащупаю двери.
Выйду на улицу – ветер задует свечу.
Бездна такая кругом – ни понять, ни измерить,
Тяжесть её непомерная не по плечу.

Двери призывно скрипят, но вернуться обратно,
Бездну увидев, уже не умеет душа.
Шепчутся чёрные вёты о чем-то невнятно.
Страшно. Глаза закрываю. Делаю шаг.

3

Говорят, что небо опускается ниже в ноябре
И будто бы царапают небосклон крыши домов.
Но не небо к земле, а земля к небу становится ближе.
Поднимается и летит.
Но не вся земля, а то место, где я сейчас стою –
В глухой деревне. Это она летит.
Вместе с погасшими фонарями, домами и деревьями.
Именно поэтому вокруг ничего не видно –
Ни лесов, ни полей. Они остались внизу.
А я и деревня летим в осеннем космосе.
Мы заблудились в нём, заблудились в вечности.
Мы останемся там навсегда,
Где мачтами качаются чёрные деревья,
Между звезд парят избы-корабли.
В космосе осеннем парит моя деревня,
Потому и не видать земли.
Не видать земли.

ТОСКА СМЕРТНАЯ

Алёну Борисовну на работе побаивались и за глаза называли не иначе как «бой-баба». Была она высока и широка в бёдрах, ещё густые, вьющиеся волосы всегда укладывала в старомодный пучок. С юности близорукая Алёна Борисовна всегда ходила в очках, которые придавали её лицу с крючковатым носом и маленькими, пронзительными, будто всегда прищуренными глазками ещё более грозный, неприступный вид. Лет с пятидесяти на её пышной груди повисла на верёвочке вторая пара окуляров – для чтения – из-за разившейся с возрастом дальнозоркости. Самым выдающимся у Алёны Борисовны был голос – зычный, строгий, с неизменной ноткой металла при любом разговоре.

Алёна Борисовна всю жизнь проработала в корректорской одной из газет, где в корреспондентах трудился её муж. Вот уже больше двадцати лет была заведующей своим отделом. Руководимый ею коллектив был чисто дамский, всего-то шесть человек – три молоденькие женщины да три дамы под пятьдесят. Работа была ответственная, а дамочки так и норовили взять какой-нибудь отгул, больничный или за «свой счет» – чтобы подтирать сопли деткам и внукам. Подходить к Алёне Борисовне с такими просьбами было крайне опасно – увидев у своего стола просительницу, Алёна Борисовна сощуривала глаза, долго молча вглядывалась в лицо «жертвы», и казалось, что в её руке вместо ручки сейчас мелькнет скальпель... Отгулы давала неохотно, больничные терпела, но ворчала. Но что там слабый пол... Трепетал и сильный, когда она, распахнув двери, появлялась на пороге кабинета и начинала отчитывать любого, невзирая на чин, за грязно – с ошибками и опечатками – набранный текст. А муж её, Александр Моисеевич, прежде чем отправиться на деловую встречу, которыми так богата жизнь журналиста, вначале бежал отпрашиваться к жене, а уж затем к заведующему отделом, ибо образ «бой-бабы» был присущ Алёне Борисовне не только на работе, но и дома. Впрочем, Александра Моисеевича жизнь как в танке вполне устраивала. За толстой непробиваемой бронёй жены ему было и покойно, и сытно, и безопасно.

• **Марина Рябоченко** окончила Московский полиграфический институт. Журналист. Член Российского союза профессиональных литераторов. Публикации в журналах «Изящная словесность», «Смена», «Южная звезда». Автор четырех книг («Ридеро», 2017, электронный формат). Живёт в Москве.

Алёна Борисовна более всего ценила чистоту, порядок и неизбежность всех проявлений жизни. Подъём, завтрак, обед, ужин, отбой происходили чётко по расписанию. В доме у неё не было лишних вещей, а всё нужное лежало по нужным местам, в холодильнике – в какое время суток ни заглянешь – всегда стоял набор из трёх блюд: борщ, котлеты, компот.

Алёна Борисовна рожала единожды – дочку Анечку. Любила её очень, но нюни никогда над дочуркой не распускала. Анечка росла идеальным ребёнком: как заводная кукла, всегда была опрятна и причёсана, с утра до вечера шагала по расписанию: школа – дом – музыкальная школа – дом... После десятилетки – а окончила она её, естественно, с золотой медалью – Анечка сразу поступила в МГУ, на филфак. И там училась на отлично, подавая какие-то большие надежды. Но вот на последнем курсе вдруг засобиралась замуж. Алёна Борисовна, хорошенько поразмыслив, дала добро – партия оказалась достойной. Жених был старше Анечки на пять лет, тоже окончил МГУ. Программист по специальности, работал в какой-то большой организации, и вроде считался первым человеком в своём деле... Родители жениха – люди не бедные – тут же подарили молодым свой трёхкомнатный, пусть и небольшой по метрам, кооператив, а сами переехали в двухкомнатную квартиру к дряхлой, уже давно требующей присмотра матери.

Ещё три года Анечка жила по расписанию. Окончив университет, пошла в аспирантуру, продолжая подавать большие надежды. Но оправдать их так и не успела – получив степень, через шесть месяцев родила.

Когда Алёна Борисовна с мужем приехали к роддому, когда Алёна Борисовна увидела в кружевном белоснежном оперении маленькое розовенькое личико внучки Полиночки, с ней что-то случилось. Такое, чего никто вокруг не заметил, а она сама и предположить не могла... Будто невидимая рука вынула из её сердца осколочек льдинки, и оно потеплело... Алёна Борисовна влюбилась! Она ни в коей мере не изменила своего стиля жизни, по-боевому вела хозяйство и дома, и на работе, но всё свободное время пропадала теперь в трёхкомнатном кооперативе. По хозяйству помогала мало, зато не отходила от внучки – пеленала, катала по двору в колясочке, трясла погремушками... Когда Полиночка подросла, Бабаля – так, как умела, называла её малышка – вооружившись висящей на груди парой очков для чтения, перечитала внученьке всю детскую классику, начиная с Маршака. Когда Полиночке исполнилось четыре, дочка снова родила – Оленьку. Алёна Борисовна влюбилась во второй раз и теперь каждую минуту своей жизни таяла, таяла от счастья, ни секунды не раздумывая, исполняя все невинные прихоти внучек...

И вдруг наступили дурные времена. Перестройка скрутила до боли в кишках. К этому времени младшей внучке уже исполнилось два годика, её даже определили в детский сад, и Анечка готова была приступить к большой интересной и денежной работе. Но вот беда – таковой в стране просто не оказалось. Неожиданно лишился службы и муж Анечки. Большая солидная организация чуть ли не каждый месяц стала меняться в названии и личном составе, а через полгода и вовсе перестала нуждаться в услугах программиста. Алёна Борисовна со страхом озиралась по сторонам и кругом видела только разруху и пепел. Ей даже

стало казаться, что всё живое в стране стало героями картины «Последний день Помпеи...»

Однако нужно было выживать. Алёна Борисовна слышала, что многие уважающие себя люди отправились за спокойной жизнью в чужие страны. От некоторых счастливиц доходили слухи о райском и безбедном существовании на новых местах. И поэтому, когда дочь сообщила родителям о своём решении отправиться на ПМЖ в Америку, Алёна Борисовна даже не сопротивлялась. Уж лучше ПМЖ, чем получать продукты по карточкам, бояться выпустить ребёнка во двор, не иметь достойной работы. В Израиль, где вряд ли нужны программисты, Анечка не хотела. Решили держать путь на запад – за океан. Найти какие-то дальние связи, подать документы и дожидаться разрешения на выезд оказалось делом нервным, долгим, отнимающим последние силы и надежды. И всё-таки разрешение дали. Чтобы иметь хоть какой-то капитал на первое время, молодые продали кооператив и с минимальными пожитками погрузились в самолёт. Алёна Борисовна очень плакала, целуя в аэропорту нежно-розовые щёчки внушек. Успокаивала себя лишь тем, что, если девочкам там будет хорошо, то и она будет счастлива.

После тяжёлого расставания Алёна Борисовна по-прежнему держалась стойко. Возраст и у неё, и у мужа был уже пенсионный, но работу ни она, ни он не оставили и с первых дней начали откладывать рубли на поездку к дочери.

Четыре года прошли в тоске по внушкам. Конечно, Анечка звонила каждую неделю, давала трубку то Полиночке, то Олечке... Но со временем девчухи стали забывать бабушку, и разговоры получались короткие, скучные, ни о чём. Жизнь у Анечки клеилась, но не очень. Работу и она, и муж нашли, старшая дочь уже пошла в школу... А подробностей Алёна Борисовна не знала – Анечка не очень откровенничала. И вот Алёне Борисовне стукнуло шестьдесят. Она решила сделать себе незабываемый подарок и, взяв двухнедельный отпуск, отправилась с мужем в гости к дочери.

В аэропорту далёкого Нью-Йорка, только сойдя с трапа самолета, Алёна Борисовна тут же стала прикладывать платочек к глазам – так волновалась перед долгожданной встречей, так соскучилась. Когда они с мужем, получив багаж, вышли в зал и увидели родных, Бабаля, припав одним коленом на сверкающий пол, сгребла в охапку внушек, пусть неузнаваемых, каких-то чужих, но таких любимых... Девочки смутились, но стояли смиренно, вопросительно глядя на отца.

Уняв чувства, Алёна Борисовна обняла и зятя, и уже бодро и почти весело уселась в автомобиль, предвкушая радостную встречу с Анечкой, которая ждала родителей дома, готовила обед. В машине Бабаля, правда, опять всплакнула. Внушки, которых она усадила рядом с собой, по правую и левую руку, жались не к бабушке, а к дверям. – Ох, забыли, забыли меня, – приговаривала Бабаля, пытаясь прижать к бокам смущённых внушек.

Анечка встретила родителей радостно, со слезами. По доброй русской традиции сразу усадила за стол. Праздничный обед произвел неизгладимое впечатление на Алёну Борисовну. Нельзя сказать, что было невкусно... Всё было съедобное, привычное по названиям – борщ, жареное мясо, картошка, но абсолютно непривычное на вкус, будто неживое. А главное – Анечка подавала всем строгие порции и горячего, и закусок, никаких излишеств, типа родных сердцу заливных,

салатов «Оливье» и «Мимоза», на столе не было... «Голодают!» – со страхом догадалась Алёна Борисовна.

Алёну Борисовну местные небоскрёбы не интересовали вовсе. Всё, всё её внимание было обращено к жизни дочери и ненаглядных внучек. И всё, решительно всё казалось ей ужасным. И то, что дочка работала самой обычной маникюршей-педикюршей и, в общем-то, сама содержала семью... И то, что зять программист никому тут не пригодился или не сумел быть полезным, и стал таксистом... Город знал плохо, зарабатывал мало, после работы, по русской традиции, выпивал... И то, что внучки, хоть и говорили по-русски, но были уж совсем не русскими душой. И неудобный по-западному, с чужой мебелью на съёмной квартире быт, и порционная кормёжка были далеки от идеала той жизни, о которой мечтала для своих любимых Алёна Борисовна.

Две недели пролетели как миг. Лишь в последнюю перед отлетом ночь дочка в разговоре с матерью вдруг всплакнула, коротко пожаловалась и на начавшего спиваться мужа, и на душевную тоску по оставленной жизни.

– Анечка, а может, назад? – с надеждой спросила Алёна Борисовна.

– Что ты, мамочка! Там уж с корнем всё вырвано, жизнь другая стала, опять привыкать надо, всё сначала начинать... А здесь уж какие-никакие корешки проросли. Девчонки – так совсем как дома...

Такие простые слова сказала дочка. Но для матери они оказались более разрыва сердца. Только в эту секунду Алёна Борисовна поняла всю истинную сущность положения. И дорога через океан в тысячи километров и четыре года показалась ей вечностью...

За долгие часы перелёта из Нью-Йорка в Москву Алёна Борисовна не проронила ни слова, не притронулась к еде. Александр Моисеевич, конечно, удивлялся, что жена не проголодалась, но с удовольствием уминал вторую порцию. На следующий день, в воскресенье, жена будто бы оживилась и стала разбирать чемоданы, но на самом деле только раскидала все вещи по полу. Достав толстую пачку фотографий, легла на диван и, как чётки, по кругу стала перебирать гляцевые снимки. К плите не подходила, о еде забыла, на все вопросы мужа отвечала как бы с трудом и односложно... Когда в понедельник Алёна Борисовна опять не встала с дивана и даже не подумала идти на работу, Александр Моисеевич забеспокоился, стал советоваться со знакомыми, в конце концов вызвал врача.

Алёна Борисовна оказалась практически здорова: и сердце работало по возрасту, и давление было почти в норме. Не найдя объяснения странной болезни, врач определила её как стресс, тоску, что вполне естественно для людей такого возраста, да ещё вкусивших «тамошней» жизни. Сказала, что всё пройдет, дайте только срок. Из таблеток прописала успокоительное, а главное лекарство – внимание, лёгкая и питательная еда...

Александр Моисеевич старался как мог. Готовил на пару покупные котлетки, по ложечке вкладывал йогурт в рот жене... А Алёна Борисовна оставалась по-прежнему ко всему безучастной, перебирая и перебирая яркие фото. Несколько раз звонила Анечка, мать говорила с ней так же односложно, будто издалека. Александр Моисеевич, не видя перемен в состоянии жены, ещё раз вызывал врача. Тот ставил тот же диагноз, давал те же советы. Но ни забота, ни внимание, ни успокоительные не дали результатов. Алёна Борисовна почти совсем перестала говорить, есть, пить. Ни на минуту не стихающая тревога поселилась в душе

Александра Моисеевича, она же гнала его из дома, и он на полдня вырывался на работу, к людям. На исходе второй недели Александр Моисеевич, вернувшись домой, по обыкновению сразу же вошел в спальню, к жене. Алёна Борисовна лежала на кровати. Вокруг неё по правую и левую руку были разложены фотографии Анечки, Полиночки, Оленьки... Увидев чужое, исхудавшее, навсегда застывшее в тоске лицо жены, Александр Моисеевич всё-таки окликнул её – и с той минуты сам как будто выпал из жизни.

Очнулся только на кладбище. Вокруг скромного гроба стояло человек десять – престарелые свёкры, две давние подружки жены, несколько человек из редакции и «девочек» из корректорской. На лицах этих чужих, в сущности, людей была не столько скорбь, сколько неподдельное изумление – никто не ожидал от «бой-бабы» такого поворота чувств. Дочь прилететь не смогла – её не пускала работа. Воткнув в холодную землю последний венок, все засобирались к маленькому автобусу, который вёз в кафе, на поминки. Александра Моисеевича из деликатности оставили на несколько минут одного.

Комкая в руках чёрный фетровый берет, не замечая простуженного ноябрьского ветра, Александр Моисеевич читал и перечитывал имя жены на казенной кладбищенской табличке. Только сейчас и рассудком, и сердцем он понял, но не мог поверить, что в его жизни случилось самое страшное, непоправимое. Он хотел было подумать, как подобает минуте, о чем-то возвышенном, вечном, но в голове почему-то роились самые простые мысли – что вот он один, старик, никому не нужный, придёт в пустой дом и не услышит родного голоса с призывком металла, и никто не подаст ему горячего борща и ароматных котлет... И что теперь так будет всегда.

– Алёна! – вдруг громко, в какой-то смертной тоске вскрикнул он над свежей могилой.

ПРОСТО ЖИЗНЬ, ПРОСТО СМЕРТЬ

Нянька приходила два раза в день. Рано утром и вечером. Паря принимала как должное, что высокая женщина с сильными руками как пушинку ставит её в ванну, сдергивает памперсы, моет, одевает в спортивные штаны, кофту и жилет-душегрейку, кормит...

«Как мама, как мама», – всплывала в эти минуты у Пари в голове одна и та же мысль.

Правда, родилась Паря восемьдесят лет назад в сибирской глуши, в то глухое время и в том глухом, не тронутом цивилизацией месте, где мыться ходили в баню не больше двух раз в месяц, а если уж была сильная нужда навести чистоту, то летом мать просто окунала детей в огромную деревянную кадущку с теплой, нагретой на солнце водой... И сейчас, в городской квартире со всеми удобствами, реагировала не на ситуацию, а на отношение, почти материнскую заботу, с которой относилась эта взрослая здоровая женщина к немощной старости.

За привычной коротенькой мыслью иногда следовала череда будто из тумана выплывающих картинок... Паря любила эти приходящие видения, а особенно – то тепло, которое они приносили с собой.

А детство было тёплым. Её молодая мать, беременная первенцем – Парей – вдруг бросила законного мужа и пошла за вдовца, как тогда говорили – «на

пятерых» детей. Какая сила страсти бушевала между матерью и отчимом, Паря ни тогда, ни позже не знала, но жили они душа в душу, родили сына. Детей не баловали, растили в труде и строгости. Только Паря – так домашние сокращали её длинное имя Прасковья – была на особом положении. Отчим, большой и добрый человек, любил её, неродную, больше всех детей – за живой ум. Быт был примитивный, работа по хозяйству тяжёлой, еда простой. Конфеты появлялись на столе раза два в год, после поездок отчима в город. Делили их поровну между всеми детьми, но Паре втихаря перепало на одну больше. И за эту одну лишнюю конфетку она всегда – и тогда, в детстве, и сейчас, в старости – была очень, до слёз благодарна. Вот так и баловали, да работой сильно не нагружали – Паря должна была учиться. Когда курс начальной школы был успешно пройден, мать собрала Парю и младшего брата к дальним родственникам – в город. Стояла трескучая сибирская зима, а путь был долог. Вёз их отец на телеге, в дороге дети заболели. И запомнила Паря, как долго они отогревались на русской печи у добрых людей, приютивших их в попутной деревеньке... Братик не выжил, а Парю отец всё-таки довез, отдал в ученье.

Дальше вспоминать не любила – как жила, хоть и у родни, но в чужой семье, одна-одинешенька со своею жизнью, скучала по дому и теплу. Окончила семь классов, да грянула война... Пошла в артель шить рукавицы и ватники, а после войны выучилась на бухгалтера. Как не любила счетоводить, а любила рисовать, примечать всё вокруг себя – и погоду, и природу, и людей, любила даже записать что-то в дневник. Так и осталось это «баловство» лишь баловством, да на всю жизнь. Зато научила хорошо рисовать дочку, учила и внучку, а дневники вела до старости...

Эти дневники – общие тетради в девяносто листов в простой картонной обложке – вместе с фотографиями и документами припрятала Зойка на шкаф. Ненадежной стала Паря: поджигала на конфорке полотенца и тряпицы, ложки и вилки закатывала в обрывки газет и засовывала под матрац, про унитаз забыла... Зойка несколько месяцев помучилась, а потом отрезала все пути к самостоятельности – купила памперсы, ручки у плиты сняла, посуду, книги, бумаги спрятала.

Всю работу Зойка выполняла деловито и быстро, без брезгливости – она уже много лет работала в медичках в доме для престарелых. Разговаривала мало – утром торопилась на работу, вечером домой. Там её ждала восьмидесятилетняя, больная раком мать, да пятилетняя внучка стояла у окна в детском саду, поджидая бабу. Родители девочки, сын и невестка, то бурно ссорились, то мирились, и места для ребёнка в их жизни не находилось.

Зойка, а было ей уже за пятьдесят, крутилась как могла, зарабатывая и на себя, и на мать, и на внучку. За подопечную платили неплохо, а хлопот немного. С едой Зойка не морочилась – что готовила дома, то и приносила: блины, оладьи, котлетки, прикупала фрукты и йогурты.

Так, впервые за свою долгую жизнь, Паря оказалось свободна как птица.

Весь день теперь просиживала около окна. Солнце, дождь, снег в положенное время сменяли друг друга, но Паря мало обращала внимание на круговорот сезонов. Главное, что в любую погоду за окном проходила жизнь. Высокие и низкие, круглые и тощие фигуры с утра до темноты сменяли друг друга. Одни были скучные – шли торопливо, наклонив вперед голову, согнув спину, будто им тяжела

и неинтересна их дорога. Паре смотреть на них было скучно и даже тоскливо, словно смотрела она на себя, ту, далекую, молодую... Как утром, торопливо, головой вперед – на работу, вечером, согнув спину, с отвисшими от тяжести сумок руками – домой... Другие, маленькие и быстрые, кружились перед глазами Пари часами – спускались с горок, крутились на каруселях, и когда в тёплый день Зойка не закрывала форточку, было слышно, как они громко кричат и смеются.

Память Пари ещё была подобна капризной океанской волне – приливы и отливы регулярно сменяли друг друга. Только отливы, жадно забирающие с собой последние крупницы рассудка, становились всё дольше, а приливы короче. Приносили они с собой такой ворох обрывистых воспоминаний, дум и вопросов, что лучше и не было бы их вовсе.

В такие часы Паря становилась беспокойной и нервной, всё пыталась что-то сделать, что-то сказать. Однажды даже взялась за телефонную трубку, вспомнила номер, позвонила. Говорила обрывисто, непонятно: «Тут, за окном, эта длинная, в чёрном... Бегает... Когда придет?»

Ей отвечали, что-то объясняли, успокаивали – длинная, мол, скоро будет.

Длинная, в чёрном до пят пальто, внучка открыла своим ключом дверь, прошла на кухню. Сидела, что-то говорила, чем-то кормила. Паря ела хорошо, но разговор понимала плохо и внучку даже по имени не назвала ни разу – забыла имя.

Жила её внучка с отцом и мачехой. Родная мать – единственная Парина дочка – уже десяток лет строила новую жизнь на новых берегах. Уехала в Америку якобы на месяц, в гости к подруге, да так и не вернулась.

Паря тогда осталась с четырёхлетним ребенком на руках и больным мужем. Жили они с дочерью отдельно, несколько остановок езды на метро, и Паре приходилось разрываться между ребёнком и стариком. Взять к себе домой внучку не могла – была девчонка неуправляемая, капризная, на месте не сидела... Дед её не привечал, раздражался и всё плохое настроение срывал на Парю.

Зять помогал, но немного, и толку от него было мало.

Месяца через три после отъезда дочери, когда уже было понятно, что она не вернётся, зять позвонил и сказал, что возьмет девчонку на пару недель, отдохнет с ней у друга на даче. Паря обрадовалась, собрала самое необходимое: горшок, ванночку для купания, несколько маек, трусов, пару платьев, плащик... Зять приехал, и девчонку и вещи забрал, и не звонились они с Парей, не общались больше года... Поначалу Паря даже боялась звонить – так устала от внучки, от забот, что даже страшилась её возвращения.

Близился уже шестой день рождения внучки, когда Паря через десятые руки узнала, что у зятя давно новая семья, а у её внучки уже даже есть сестрёнка. Набралась смелости, позвонила и в ближайшее же воскресенье приехала на знакомство. С тех пор и зачастила в дом к бывшему зятю – отогреваться душой. Когда эта чужая женщина, внучкина мачеха, открывала ей дверь, улыбалась с порога, у Пари словно гири падали с плеч, и легче становилось на душе, и улыбка растягивала губы. Всё Парю в ней нравилось. И как она растит внучку – та была кровь с молоком, ухоженная, а по характеру спокойнее. И как она быстро и вкусно готовит, с душой угощает. И как по-доброму разговаривает, слушает, обо всём спрашивает... И не для того, чтобы время убить, а искренне сострадает. И Паря была рада вспоминать, вспоминать...

Как, к примеру, познакомилась с мужем своим, Германом. Было ей уже двадцать семь. По тем, послевоенным, меркам почти старая дева. Жила в небольшом уральском городке, куда приехала по распределению после учёбы. И вот впервые решила провести отпуск не у родных, а поехать к морю. Как-то шла по кромке воды, загребая ногами мокрый тяжёлый песок и высматривая ракушки, наслаждалась жарким южным солнцем, теплотой набегающей волны, и вдруг услышала:

– А звать-то тебя как?

Повернула голову и увидела сидящего по горло в воде усатого молодца. – Паря, – ответила просто.

– А, Таня! А я Герман.

Услышав имя благородное, из пушкинских времен, Паря застеснялась своего простого, деревенского, и с тех пор так и осталась для всех новых знакомых Татьяной, Татьяной Михайловной.

Был Герман статный, весёлый, надёжный: почти на десять лет старше, военный, в чине. Татьяна влюбилась, Герман ответил взаимностью. Вскоре после отпуска Татьяна приехала в его комнату в доме барачного типа на окраине Москвы. Они поженились.

Дочку Татьяна родила поздно, в тридцать три. Тогда, в конце пятидесятых, декрет после родов давали всего на два месяца, и Татьяне пришлось «выписать» из Сибири мать на помощь. Но в одной комнатке было слишком уж тесно вчетвером, и мать, до полутора лет ходившая за внучкой, всё-таки уехала. Татьяна отдала дочку в детские ясли, потом в сад, школу, летом отправляла в пионерлагеря – всё по стандартному советскому плану. Ни в чём дочке не отказывали: хотела танцевать – записали на танцы, хотела рисовать – записали рисовать, хотела петь – пела...

Нельзя сказать, что семейная жизнь не складывалась, но с годами характер Германа становился всё круче. Уйдя в отставку, стал выпивать, скандалить. Дочку с малолетства не очень привечал или, как настоящий солдат, не умел этого делать. Она частенько мешала то почитать газету, то полежать спокойно на диване, и за любую провинность он норовил наказать и свистел в воздухе ремнём. Татьяна за дочку заступалась, но иной раз и побаивалась одёрнуть разбушевавшегося мужа, а то под горячую руку и сама была готова наказать. Бить, конечно, не била.

После окончания школы дочка пару лет металась, выбирая институт, да в конце концов замахнулась на университет, поступила на искусствоведческий, на первом же курсе выскочила замуж, через два года развелась, сделала четыре аборта... Татьяне не всё нравилось, она старалась научить, наставить, но дочка только огрызалась. Отца побаивалась – и помалкивала, а на мать выливала и претензии, и упреки.

И вот к двадцати восьми решила рожать. Татьяна Михайловна и обрадовалась, и расстроилась. Радовалась, что наконец-то будет в семье маленький, и боялась чего-то. Все было не так как надо в жизни дочери – будущий отец на пять лет младше, без профессии и заработка, уже разведённый, легкомысленный, мальчишка. Дочь, хоть и взрослая, но дура душой: неуживчивая, нехозяйственная, неласковая, всё с какими-то претензиями на избранность, светский быт, вся в своих мыслях... Матери в эти мысли ходу не было, но чувствовала она, что не от чистого сердца хотела дочь дитя. Был у неё свой, меркантильный, интерес: и

возраст подпирал, и жилищный вопрос беспокоил – собирались их барак сносить, и грозило им переселение в новую квартиру. Чтобы получить отдельную от родителей жилплощадь, дочка должна была иметь семью. Чувствовала Татьяна Михайловна материнским сердцем, что нельзя дочери рожать: не сможет она воспитать ребенка.

Так и получилось. Всего четыре года выдержала дочь материнской доли и замужней жизни. Да и что это за замужество? Он жил у себя, со стариком отцом. Она у себя, в новой однокомнатной квартире, которую получила за три месяца до родов. Ссорились, мирились, несколько раз собирались разводиться... Внучка росла беспокойной и даже буйной – и дома, и у стариков только то и делала, что прыгала на диване и кидалась подушками. Усадить её, занять было невозможно. В детский сад ходила плохо – часто болела. Дочь работала в музее, деньги получала небольшие, зять и вовсе ещё учился. Татьяна Михайловна помогала, как и чем могла – до тех пор, пока дочь не поставила точку, бросив и квартиру, и работу, и стариков, и ребёнка...

Десять лет приезжала Татьяна Михайловна в гости к бывшему зятю. По праздникам, в дни рождения, просто в выходные. В первые годы, когда нагрянула перестройка с пустыми прилавками, всегда с гостинцами – ржаными лепёшками собственного изготовления, курицей из полковничьего пайка, яблочками. Бывало, привозила и денежки – немного, больше пятидесяти рублей из пенсии не могла вырвать, но и этой малости, и гостинцам радовалась чужая, была благодарна всем сердцем. И Татьяна Михайловна отвечала ей тем же. И за внучку, которая из Маугли преображалась на глазах в человеческого ребёнка. И за то, что никогда не сказала дурного слова о её дочери. И за то, что ей можно было пожаловаться не только на свою уже по-стариковски безрадостную жизнь, но и на тяжёлую жизнь американки...

Там, в Америке, дочь поначалу мыкалась, выносила горшки за чужой старухой, а потом всё-таки вышла замуж, не совсем по любви, больше по расчёту, получила гражданство и уже несколько раз приезжала домой. Жила у родителей, свою квартиру сдавала. И радовалась Татьяна Михайловна дочери, и плакала много – та была часто недовольна, вспоминала старое, упрекала – и придумала же такое! – что не отдали её в балерины. Татьяна Михайловна не выдерживала и сбегала от родной к чужой – поплакать, пожаловаться...

С годами вырываться в гости ей стало сложнее – муж совсем занемог, плохо ходил и ленился даже подогреть обед, оставленный на плите. Как-то поздней осенью стало ему совсем плохо, Татьяна Михайловна вызвала «скорую», а через две недели проводила мужа на кладбище. Хоронила, считай, одна. Приехал на помощь по звонку дочери какой-то молодой мужчина, что-то хлопотал, а больше держал её под руку. Бывшему зятю она не позвонила – была в первые дни как в беспамятстве, без рассудка.

После похорон и сама вдруг резко сдала, стала чудить – забывать слова, имена, дела... Теперь в выходные к ней приезжала внучка – с гостинцами, деньгами. Девочка разговаривала мало, всё больше рисовала, но и так Татьяне Михайловне было уютно, спокойно. Когда уезжала, оставались после неё на столе ворохи листов. Татьяна Михайловна подолгу рассматривала, удивлялась – ещё школь-

ница, не училась нигде, а как легко, хорошо рисует. Радовалась – проросло-таки семья, хоть и в третьем поколении, её талантом!

Когда внучка стала рассказывать дома, что бабушка ест творог, замороженный в морозильнике, греет на плите чай в чашке, чужая забеспокоилась. Позвонила в Америку, сообщила, что Татьяна Михайловна больше не может жить одна. Дочь всё поняла, и вскоре в квартире у Татьяны Михайловны появилась Зойка. Стала ходить, присматривать. Поначалу Татьяна Михайловна бывала недовольна, ворчала – то мыли её не так, то шторы не так задёргивали. Потом присмирела и вот – села у окна. И совсем неважно ей было, какой на дворе стоял сезон. Главное, что там была жизнь.

Среди сновавших за окном фигур Паря в последнее время всё искала одну. Под конец сознательной жизни образы и дочери, и внучки слились у неё в один – без лица и без имени. Назвала его Паря словом «длинная», и у Зойки так и спрашивала:

– А длинная где?

– Звонила, звонила, – вытирая слезящиеся Парины глаза, отвечала Зойка. – Как сможет, так и будет...

Последним усилием хотела Паря понять, додумать, что же было не так, когда недолюбила дочь? И как она любила: всей ли душой, или только частью её, той, свободной от мужа, работы, домашних дел, да забот о престарелой матери, которую после смерти отчима перевезла в Москву?.. Так ведь все жили так, разве у кого получалось по-другому?

Вспоминалось Паре, что росла дочка как чужая в родной семье и лет с двенадцати словно оторвалась душой: папу стала называть отцом, а маму – Татьяной Михайловной. Думалось тогда, что вот пройдет подростковая ломка, и отношения наладятся, потеплеют. Не случилось. Уж и жизнь кончилась, а не случилось...

Больше года ходила Зойка, а когда поняла, что стало Татьяне Михайловне всё трын-трава и осталось от жизни у неё только одно имя, данное при рождении, – захлопотала, забегала, оформила в дом для престарелых, где сама работала. И ещё около двух лет ходила Паря под ручку со своей соседкой по приютским коридорам – чистая, ухоженная, накормленная, но уже не человек, а память о человеке.

В середине второго года, ближе к Рождеству, вдруг собралась умирать. Сильно простудилась, простуда дала осложнение на сердце. Лежала она уже живым трупом, а Зойка всё не унималась: поила лекарствами, кормила.

– Ты подожди, Прасковья Михайловна, в апреле дочка приедет. Подожди.

Та словно поняла что, послушалась, пошла на поправку. И опять стала иногда мерить коридоры, но всё больше лежала. Ждала. Когда наступил апрель – Бог весть, как она об этом узнала – опять слегла, перестала есть и пить, только косила глазами в сторону двери.

– Ты подожди, подожди, скоро приедет, – опять уговаривала её Зойка.

Наконец, приехала. Села у кровати, взяла за руку. Мать была совсем плоха, делать около неё было нечего. Посидела, попрощалась, через полчаса ушла.

Паря умерла утром следующего дня. Дочь, услышав от Зойки известие, всплакнула, но планов менять не стала. Повела свою дочку в новый кинотеатр на премьеру американского мультлика – приехала она всего на месяц, и времени у неё было мало. Собственно, беспокоиться ей было не о чем – собирали Парю в последний путь за счёт заведения.

СТИХИ

ДРОБИ

Себя самих осудим и простим мы,
Какой бы свет в пути нам ни мерцал.
В числителе – попытки быть счастливым,
А в знаменателе – весь наш потенциал.
Но как себя к финалу не угробим,
Впитав несостоятельности груз,
Я всё же за неправильные дроби
И за всечеловеческую грусть!

ПРЕДВЕСЕННИЙ СЮЖЕТ

С крыш капель, воркотня голубей,
Гул машин, этот пульс городской...
И князёк будет рад, и плебей
Попрощается с зимней тоской.
И вот-вот прыснет с веток листва,
Намалюет весенний пейзаж,
Сколько раз я сюжет сей листал,
Да входил по-весеннему в раж?!
Это время с шарманкой своей
Всё вращает избитый мотив,
И влечёт соловьиная трель
Новой страсти причину найти.
И черёмухой в парке пахнёт,
Словно сон Сальвадора Дали,
И в который раз тронется лёд,
И рекой поплывут корабли.

СТРОКИ

На цыпочках дожди идут,
Переиначивают небо,
Бросают мелочью минут,
Всё, что сгодится на потребу:
Осколки грусти, серый быт,
Горчинка фраз и запах кофе.
Рельеф воспоминаний смывает,
И неприметны счастья крохи.

• **Владислав Савенко** родился в Ленинграде в 1969 г. Поэзию любит с детства. Посещал ЛИТО Виктора Сосноры, пишет авторские песни. По профессии – психолог, юрист. Автор сборника стихов (2018). Финалист конкурса Союза российских писателей «Поэт года-2017». Живёт в Санкт-Петербурге.

И безответны времена
Своей конечностью жестокой,
И к тучам просится спина,
И крылья прорастают – строки.

ПЕРЧАТКА

Потерял я перчатку, возможно, в вагоне метро,
Ведь проезд ей оплачен, так пусть покатается вдоволь,
И в подземной артерии будет скитаться, как тромб,
Отпечатком судьбы, словно ветер в распаханном поле.
Может, кто подберёт, да кому она будет нужна?
Или кто для забавы на станции сбросит с платформы.
И жалеть мне о ней или помнить – с какого рожна?
Жизнь привычна к потерям в пределах рассудка и нормы.
Регулярные толпы людей по вагонам не спят,
И проносятся мимо, что книги, выходят в печать как...
Дубль отснят, из события выдавлен яд,
И укором пустым остается вторая перчатка.

ГОВОРИЛ Я С РЕКОЙ

Говорила река берегами – своими устами:
Не туда я текла, поменяйтесь со мною местами,
Я вам жизнь доживу,
Ну а вы, по моим поворотам,
обернётесь водой, что к озерам уйдёт и к болотам.
Но ответил я ей, что и сам я на ниточке лунной,
А от смены ролей никогда не меняется сумма.

МОЙ ГОРОД

Мой город, ты горд, ты меня укротил,
Ты в рамках своих обозначил мой путь,
И тот, кто домов твоих выносил стиль,
С конём на дыбы, не сумеет уснуть.
Близки мне и зной твой, дожди и ветра,
И зим твоих злобных зубов белизна.
Я буду молиться тебе до утра
Словами из детства, которые знал.
И улиц твоих параллели дрожат
От пыльных машин, меж каналов и рек.
И Сфинксы – немые твои сторожа,
С тобой коротают свой призрачный век.

ПАДАЙ, СЕРДЦЕ

Вот и вьюга окна занавесила,
Тьма предзимняя по улицам ползёт,
На душе тревожно и невесело,
И падение сменило взлёт.
Падай, сердце, мчи многоэтажную
Пропастью к дрожащим фонарям,
Обернись снегурочкой бумажною
Или старцем вверенным дарам.
Или там, за стёклами оконными,
Стань рисунком, вышитым на льду.
Я тебя с метелями, иконами,
В этот мир стучащее, найду!

В РАЮ

Был проездом в Раю, били масло из звёзд в чёрной ступе
Бесноватые Ангелы. Скользкой улыбочкой лиц,
С шепотком о мирах, с философскою кашницей вкупе,
Угощали меня, как в столовках забытых больниц.
Дирижировал ими усталый озлобленный клоун,
Он кричал невпопад и тревожно смотрел на часы.
Кто-то песни орал, неутешною скукою полон,
Кто-то свежие души, как мясо, швырял на весы.
Снова взвесить грехи, отчитать непослушных усопших,
Очертить им предел преискурантом из райских затей...
Я проснулся в поту, одинокий, от песен оглохший,
И включил телевизор, с подборкой цепных новостей.

В КАРНАВАЛЕ

А за мной километры дорог,
Недописанные дневники,
И читаемые между строк
Одиночества, что легки
И похожи на маски дней
В карнавале венецианском.
Шут мой пьян, но ему видней,
Где наполнить и чем стакан свой.
Пахнет краской из мастерской,
По брусчатке чеканит дождик...
Приходили печаль с тоской,
Заплатили монетой ложной.
И над крышами чаек крик,
Над стареющей их черепицей,
И осенней листвы парик
Под ногами шуршит, лоснится.

ДЕКАБРЬ

А в колодцах моих дворов
Снег идет, как в замедленном фильме,
Между стен и деревьев, ветров,
Редких путников. Холод не сильный,
Но он гонит их по домам,
Да в метро, иль во тьму маршруток.
И снежок, что с судьбой пополам,
Неуместен и в чём-то жуток.
А на улицах ёлки зажглись,
И гирлянды смеются светом,
И застыл, как в охоте лис,
Новый год на пороге где-то.
Как в замедленном фильме, снег
Стаей мошек танцует белых,
И декабрь пришёл как во сне,
Неумелый, рябой, несмелый.

ПО СУМРАКУ УЛИЦ

И я проходил по звенящему сумраку улиц,
В железных кроссовках и с крыльями из пенопласта.
Как пчелы, жужжали вокруг бесноватые пули,
Я думал: надули, но важно – не склеить бы лапы!
И пусть – не взлететь, но хотя бы добраться до истин,
Которые с хлебом, с лотка, продают азиаты.
Мне вслед говорили: идёт безработный артист, и
Мне в спину кидались снежками, как сахарной ватой.
А крылья размокли, крошились, смешались со снегом,
И истин уж нет, лишь самса кислым запахом бродит,
Но был я доволен дорогой, и песней, и веком,
И тем, что иду до сих пор, не простреленный вроде.

О СМЕРТИ

За ширмочкой многоголосых дней
И даже смерть покажется спектаклем,
Покуда мы не поравнялись с ней,
Она – чужая,
 выдумка,
 не так ли?
Она как тень, что отделилась вдруг
От человека, в небе растворяясь,
Где облака в туман её сотрут,
Где новых жизней народится завязь.



Фёдор
ОШЕВНЕВ

РАССКАЗЫ

ВПЕРВЫЕ НА ПОСТУ

Густая чернота июньского неба застыла над уснувшим городом; лишь на тёмном бархате беззвездья сиял холодный лунный диск. А на городской окраине, в гарнизонном карауле – в воинской части, от которой он наряжался, его шуточно прозвали «отрезанным ломтем», – заканчивалась смена часовых.

– Рядовой Макаров, с поста шагом – марш, – привычно скомандовал разводящий ефрейтор и покосился на светящийся циферблат наручных часов: 23.15.

Рядовой Макаров устало, но с чувством удовлетворения – своё отстоял честно – пристроился в затылок свободному караульному. Второй, временно наблюдавший за постом караульный самостоятельно занял место впереди них. Разводящий возглавил мини-колонну и завершил смену постов командой:

– За мной шагом – марш!

Силуэты уходивших солдат ещё с полминуты были видны новому часовому, рядовому Панкратову. В слепящем свете прожектора на автомате за квадратной спиной рядового Макарова, замыкавшего колонну уходящих солдат, как бы подбадривая на прощанье, ртутно сверкнул кончик полированного штык-ножа. И людские фигуры без остатка проглотила пугающая темнота.

А Панкратов остался на малознакомом посту. Один. Ночь. Впервые. Впрочем – с заряженным автоматом, что немного успокаивало.

Сразу же в мир вокруг часового пугающе ворвалось множество звуков, которых Панкратов до этого просто не замечал. Да, он легко угадал стрекочущее пиликанье кузнечиков. Но кому принадлежит трещанье, похожее на пощёлкивание крутящегося электросчетчика?

• **Фёдор Ошевнев** родился в 1955 г. Окончил Воронежский технологический институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Четверть века отдал госслужбе в армии и милиции. Участник боевых действий. Майор внутренней службы в отставке. Прозаик, публицист, журналист. Автор двенадцати книг и более 300 публикаций в периодических изданиях. Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова (2018) в номинации «Художественная проза», Международного литературного конкурса «Есенинцы» (2018) в номинации «Господи, я верую!..» и др. Живёт в Ростове-на-Дону.

Вот цвиркнула птаха. Вот недалеко проехал автомобиль. Вот экономно гавкнул мучимый бессонницей бродяга-пес. Сзади, вблизи поста, тихо журчала обмелевшая речушка.

Однако к понятным звукам добавлялись и непонятные: слабые постукивания в листве деревьев, хрусты и шорохи в кустах за линией внешнего ограждения, раз оттуда же послышалось что-то вроде приглушённого стона.

Гнетущее беспокойство навалилось на часового, так пока и топтавшегося на одном месте.

«Может, позвонить начальнику караула? – подумал Панкратов и взглянул на телефонную трубку, болтавшуюся на поясном ремне. – И... что? Пожаловаться, мол, страшно? Спокойно-спокойно...»

Солдат наконец осторожными шагами пошёл по маршруту: двигаясь меж внешним и внутренним ограждением, мимо ламп и прожекторов, укрепленных на столбиках над наружным рядом «колючки», опоясывающей пост. А за её внутренним рядом находился с десятков сложенных из жёлтого пиленого камня-ракушечника складов с военным имуществом – охраняемые объекты.

Через каждые шесть-восемь шагов Панкратов оглядывался назад, сжимая ладонями автомат: левой за металлический магазин с тридцатью боевыми патронами, правой – за шейку приклада. Почти не ощущая тяжести личного оружия, часовой нёс его с величайшей осторожностью, на чуть вытянутых перед собой руках, словно автомат был сработан из хрупкого хрусталя. Порой солдат поглядывал на брезентовый подсумок у пояса, где хранился запасной магазин, тоже таящий в изогнутом чреве три десятка свинцовых смертей. Но в основном, конечно, всматривался в полосу кустов за внешним рядом колючей проволоки.

Мягко ступая подошвами кирзовых сапог по выщербленным местами кирпичной дорожке, часовой не подозревал, что под верхним слоем кирпичей лежит их почти метровая толща. Круглогодично утаптываемые сапогами солдат кирпичи по сотым долям миллиметра вминались в почву, и через три-четыре года требовалось настилать новый слой уходящей ниже уровня земли дорожки.

«Да, в караулке было куда спокойнее, – сами собой лезли в голову Панкратову боязливые мысли. – В случае чего – толпа народу рядом, начкар... А здесь – здесь в случае чего самому обороняться придётся. Пока-то они прибегут... Да и прибегут ли...»

От такого вывода Панкратова передёрнуло: вновь пытался взять верх над сознанием обычный человеческий страх перед неизвестностью. Но часовой, зажмурив на секунду глаза, мотнул головой, как бы изгоняя непожеланные на посту панические мысли, и ритмично, в такт шагам поводя дулом автомата влево-вперед, продолжил путь по мощёной дорожке с блестящими кое-где на ней под прожекторами соломинками сухой травы.

Идти хотелось и быстро, и медленно. Быстро – так как солдат опасался, что, пока он будет находиться на одном конце маршрута поста, как бы с другой его стороны в глубь объекта не проник нарушитель. А медленно – поскольку Панкратов старался досконально изучить охраняемую территорию, сжиться с постом. Ведь до заступления на смену – впервые и сразу в ночь – рядовой лишь поверхностно ознакомился с местом будущего выполнения боевой задачи, когда весь взвод приезжал сюда с неделю назад и солдаты быстренько прошли по всему периметру «колючки».

Бдеть службу в компании с автоматом предстояло томительных два часа. Плюс-минус десять минут – допуск зависел от расторопности разводящего да ещё от того, какой пост он решит сменить первым. И как же до тоски остро чувствовал сейчас часовой томительную бесконечность этих пугающих грядущими опасностями часов!

Меж тем Панкратов уже дошёл до постового грибка, напоминающего грибок песочницы во дворе далёкого родительского дома. Только четырёхскатная крыша постового грибка не была расписана под мухомор, но заботливо обита рубероидом с посыпкой, а на ножке-столбике висело устройство для связи и сигнализации с караулкой – в металлическом ящике с откидной крышкой на ролевой петле прятались красная кнопка звонка и гнездо для подключения телефонной трубки.

«Бесплатный телефон-автомат, – мысленно усмехнулся часовой. – Однако и звонит только одному абоненту...»

Но связываться с начальником караула Панкратов не стал. Чувствовал, что получаса от начала патрулирования, когда положено делать первый звонок, ещё не прошло...

«Сколько же сейчас точно времени? – мучительно прикидывал часовой, минуя постовой грибок. – Вот же сволочь взводный...»

(«Сволочь взводный», полагаясь на свою практику службы, в приказном порядке заставил всех солдат, имевших наручные часы, сдать их на время боевого дежурства старшине роты. По мнению офицера, для любого часового с хронометром на руке длительность смены на посту как бы растягивается. Не говоря уже о том, что часы – это сильный отвлекающий от службы фактор...)

Крик птицы, похоже совы, заставил часового вздрогнуть и приостановиться. Погрозив кулаком в высоту, Панкратов пошёл дальше и вскоре дошагал до металлической таблички, приваренной к ножке-арматурине, воткнутой в землю. «Начало маршрута движения», – сообщала табличка. Скользя взглядом по красным на голубом фоне буквам, солдат настороженно направил дуло автомата вниз, уткнув его в отрытый рядом с табличкой маленький окоп. Панкратов внимательно вгляделся в его метровую глубину – вдруг оттуда выскочит притаившийся нарушитель.

Окоп оказался пуст. Испытав чувство разочарования-облегчения, часовой зашагал по кирпичной дорожке в обратную сторону.

Неделю назад при осмотре постов взводом глазастый Стрельцов из первого отделения именно в этом окопчике усмотрел предательские следы «отправления естественных надобностей», замаскированные сломанной веткой с уже повядшими листочками. Вот тебе и исполнение на деле статьи устава «что запрещается часовому...»

Неожиданно для себя Панкратов вдруг принялся цитировать в уме упомянутую статью, от неё перешел к другой, разъясняющей «неприкосновенность часового», на третьем пункте которой обычно при опросах ошибался. На этот раз мысленно добрался до конца благополучно, без запинок, с удивлением обнаружив, что служба на посту обостряет не только внимание, но и память.

А дальше память сделала своего рода пируэт от уставных строк к неуставной приказке, рассказанной сержантом на самоподготовке:

Часовой есть вооружённый труп,
 Обёрнутый в тулуп,
 Выставленный на мороз,
 Заинструктированный до слёз,
 По сторонам следящий,
 Не идет ли разводящий.

Губы у Панкратова сами собой растянулись в улыбке, и тут – что-то чёрное, страшное вылетело из листовы. Сверкнув глазами, «что-то» шумно взмыло вверх чуть ли не перед самым носом перетрусившего солдата, судорожно дергавшего рукоятку затвора, забыв снять автомат с предохранителя. Сердце человеческое забилося чаще и громче, ноги онемели.

На третьей безуспешной попытке взвести затвор Панкратов понял, что его напугала сова, – возможно, та самая, которая раньше ухала с высоты.

«Нет худа без добра, – рассудил часовой, бережно погладив рычажок-переводчик огня, оставшийся в верхнем положении «предохранитель». – А то бы пальнул очередью... Только не в белый свет, а в тёмную ночь, попусту...»

Продолжая идти по кирпичной дорожке, рядовой, едва ли не в первый раз за время пребывания на посту, взглянул на небо и очень удивился: оказывается, оно в беззвёздную ночь густо-синее...

Шаги часового стали более спокойными, хотя глаза не менее внимательно обшаривали местность за внешней «колючкой». Панкратов прошёл уже место, откуда он начинал патрулирование, и приближался теперь к сварному громоотводу, похожему на Эйфелеву башню в миниатюре.

Во время осмотра постов неделю назад, вместе с комвзвода, офицеру неожиданно задал вопрос рядовой Вьюнов, больше известный в роте как Конь-с-биноклем. Этим прозвищем его наградили из-за очков и вытянутой, сильно напоминающей лошадиную, физиономии. Впрочем, в солдатской среде многие имеют прозвища: самому Панкратову ещё во время первой помывки в армейской бане прилепили богатое «погоняло» Метилоранж – из-за рыжего цвета волос.

А вопрос был следующим:

– Товарищ капитан, смотрите, на табличке написано, что при грозе к громоотводу ближе пятнадцати метров подходить нельзя, а как же тогда патрулировать, если он сам почти на маршруте? За ограждение вылезать при обходе, что ли?

Самое приятное было, что взводный на коварный вопрос толком и не ответил, только наорал на Коня-с-биноклем за «нездоровое любопытство».

Минуя громоотвод, часовой попытался рассмотреть рисунок, сделанный наверхняк по незаствившей ещё бетонной подушке-основанию. При ночном освещении огромной, с голову, дули с подписью: «Твой дембель» толком углядеть не удалось.

«Да-а... Дембель, как говорится, ещё за поворотом и не виден», – думал часовой, грустно вспоминая милую гражданку, потерянную на бесконечные семьсот тридцать дней.

Меж тем Панкратов приблизился уже не к метафорическому, а к настоящему повороту в своей армейской, а конкретно – караульной службе. Ведь маршрут движения по посту напоминал равностороннюю букву «Г» с постовыми грибками по её концам и постовой вышкой на повороте. При подходе к нему часового

вдруг пронзила тревожная мысль: вдруг на полу вышки, скрытом от него её метровыми боковыми стенками, притаился нарушитель, который вот-вот звериным прыжком кинется ему на спину и вонзит под лопатку огромный нож. А второй нарушитель таится в окопчике под вышкой!

Стараясь наблюдать и за тёмными кустами у ограждения, часовой бочком подкрался к окопчику. Пусто... Заставить себя подняться на вышку оказалось сложно. У Панкратова зубы стучали от волнения, когда он осторожно ступал по металлической лестнице.

Опасения, конечно, оказались напрасными. Спустившись, часовой оборвал вьющуюся кое-где на внешнем ограждении, в самом его углу, повитель – дабы не мешала видимости, – а заодно обнаружил, что порыжевшая от дождей и времени «колючка» кое-где перехвачена латками – кусками алюминиевой проволоки.

Тогда Панкратов исследовал и кусок внутреннего ограждения, почти не обнаружив на нём повреждений.

«А на внешней «колючке» их целая куча... Как так? Не может же быть, что всякая латка – это нарушитель?» – размышлял рядовой.

И тут он застыл на месте, вдруг увидев на одном из бетонных столбиков, прямо под стосвечевой лампой, одетой в колпак отражателя, крупное насекомое, трещавшее, словно электросчетчик. Похожее на огромного кузнечика хризолитовое насекомое с просвечивающимися внутренностями стояло на своём постаменте, будто высеченное из драгоценного камня украшение.

«Кузнечики такие здоровые не бывают, – сообщал часовой. – Неужели?.. Ну конечно! Обжора-саранча».

Довольный разгадкой хотя бы одной из маленьких тайн караула, часовой пошёл дальше, вскоре поравнявшись со вторым постовым грибком с табличкой за ним, также обозначающей конец маршрута движения. В шаге от кирпичной дорожки выросло огромное дерево с множеством бесформенных ран на стволе, в которых виднелась восковая древесина.

На всякий случай Панкратов, конечно, обошёл толстенную кавказскую акацию, убедившись, что и за ней не прячется нарушитель, потом проверил – на этот же счет – последний окопчик, у таблички, и вновь вернулся к мощному дереву. Дотронувшись рукой до прохладного шершавого ствола, кора которого как бы сбегала вниз отдельными извилистыми струями, часовой несколько секунд недоумевал, кто же так, кусками, обглодал дерево, но затем, повинувшись желанию проверить мысль, приподнял автомат и основательно ткнул в ствол острым кончиком штык-ножа. Кусочек коры отслоился, дерево получило ещё одну ранку.

«Вот что! – понял рядовой. – Стало быть, подобным образом иные часовые отмечают «конец маршрута движения».

Солдату стало стыдно за свой опыт, он погладил ладонью израненный ствол и потопал назад, в направлении постовой вышки.

На сей раз, пересилив желание, рядовой на вышку не полез, но в окопчик возле неё всё же опять заглянул: пусто...

От переживаемых ли волнений, либо ещё от чего, часовому вдруг нестерпимо захотелось пить, что на посту запрещалось. Панкратов полизал крышку ствольной коробки автомата, пытаясь унять жажду. Металлический привкус немного перебил её. Без дальнейших приключений рядовой добрался до того места, откуда после смены часовых и начал патрулирование.

«Первый блин не комом, – с радостью подумал Панкратов. – Не так страшен чёрт, как его малюют. Да и вообще в этом карауле нападений не было, а если и были когда, так уж никто и не помнит... Ёшкин кот... Это сколько же я за два часа таких кругов от грибка до грибка намотаю? Хотя какие круги? Патрулировать-то надо по букве «Г». А-а, если ходишь по своим следам, значит тот же круг...»

Всё больше успокаиваясь, он уже подходил к первому постовому грибку, как тут в темноте кустов за ограждением послышался шорох – вроде бы кто-то завозился в траве, устраиваясь поудобнее. Часовой возбуждённо задрожал, его правая рука сама потянулась к затворной раме. С трудом подавив желание выпустить на шорох автоматную очередь, памятуя слова командира роты, сказанные на инструктаже перед заступлением на боевое дежурство, о недопустимости применения оружия в спешке, коль нет явного нападения, он присел перед ограждением. Шорох в кустах то смолкал, то слышался опять. Панкратову уже казалось, что он различает за «колючкой» очертания тела притаившегося человека. По-рачьи пятясь, часовой добрался до окопчика, с облегчением ввалился туда и стал думать, насколько рискованно сейчас связываться с караулкой, мишенью выходя под грибок.

Решив, что риск чересчур велик, солдат, не снимая автомата с предохранителя, дёрнул затвором для устрашения неизвестного, копошащегося в кустах, и с паузой в секунду подал сразу две команды: «Стой!» и «Стой, стрелять буду!»

От волнения голос прозвучал силло и не так громко, как бы этого хотелось Панкратову. А шорох предполагаемого нарушителя сразу стих.

«Что теперь делать? – мучительно решал часовой. – Он же за ограждением: попробуй-ка задержи... А вдруг у него тоже оружие?»

Раздираемый страхами и подспудным сомнением: есть ли в кустах нарушитель, или?.. – часовой снял автомат с предохранителя: так, мол, будет вернее, задержал указательный палец на рукоятке затвора, готовый взвести его и...

В кустах зашелестело опять. Панкратов буравил взглядом темноту за внешним ограждением. А из неё на кирпичную дорожку выступило что-то округлое, тёмное. Вот уже оно попало в освещаемую лампой зону и... Ба! Да это же всего-навсего ёж! И довольно крупный... И так забавно семенит... Ух!

Панкратов злобно выругался. Столько натерпеться из-за колючего клубка!

Вымахнув из окопчика, часовой подбежал к спешащему животному – собрался наподдать ему сапогом, отомстить за пережитый страх. Услышав шум шагов, ёж разом свернулся, ошетинился иглами. А солдат моментально, так же как раньше разозлился, успокоился.

«За что его бить? – рассудил он. – Животина безобидная, полезная. Разве понимает, куда можно, а куда нельзя заползть? Живи, животное!» – и Панкратов только слегка потрогал неподвижного ежа кончиком штык-ножа. Зверёк недовольно хрюкнул...

Минуя постовой грибок, рядовой вновь поймал себя на мысли, что неплохо было бы позвонить начальнику караула: казалось, что с момента заступления на смену явно прошло более получаса. Но – уже упоминалось, что время на посту тянется гораздо дольше, чем обычно. Посему часовой принял компромиссное решение: позвонить, однако с другого постового грибка, а до него ещё нужно было допатрулировать.

Шесть шагов... Остановка, обернуться назад... Ещё шесть шагов... Остановка... Ещё отшагать... Ещё... Место начала движения... Громоотвод... Вышка... Поворот дорожки и ограждения. Подумаешь, велика важность, два часа протопать...

Сам того не замечая, часовой теперь шёл быстрее, чем в начале смены. С каждым шагом он накапливал уверенность в себе, в своих силах, появилось даже слабенькое желание задержать нарушителя, крепнущее и крепнущее. В мыслях Панкратов теперь перешёл от неоправданного страха к неоправданной смелости, воображая, как из густых кустов выползает здоровенный бородатый мужик с ножом в одной руке и с дубинкой в другой, но, вовремя заметив опасность, он, часовой, умело задерживает нарушителя, и вот уже едет в краткосрочный отпуск, домой, с какой-нибудь медалью на парадном кителе, а там все удивляются: как это – отслужил всего месяц и уже на родину героем заявился...

От сих сладких мечтаний Панкратов заулыбался и, выпятив грудь, небрежно сплюнул сквозь зубы, а хватку автомата ослабил...

Утробный кошачий вопль ворвался по барабанным перепонкам в сознание, мгновенно вытеснив из него все грёзы. Рядовой вновь судорожно вцепился в оружие, а ловить нарушителя и ехать на малую родину героем в момент расхотелось.

– А ну его к лешему, этот отпуск, – вслух для себя решил солдат. – Тут лишь бы смену до конца нормально оттащить.

У постового грибка, за изранным штык-ножами деревом, часовой остановился и осмотрелся с особой внимательностью: как же, сейчас он будет представлять отличную мишень!

Не обнаружив ничего подозрительного (к непонятым легким шумам, столь смущавшим рядового в самом начале смены, он уже притерпелся), Панкратов переложил автомат в левую руку. А правой снял с ремешка ножен телефонную трубку, из кармана брюк вытянул соединенный с ней шнур со штепселем на конце и воткнул его в розетку системы связи. Четырежды надавив на красную кнопку сигнализации, часовой услышал в трубке щелчок и голос:

– Слушаю, начальник караула.

– Докладывает часовой второго поста, третьей смены, – зачастил Панкратов. – На посту всё нормально, без происшествий.

И с чувством вины в голосе поинтересовался временем: оказалось, что с начала смены прошло сорок минут...

Несмотря на ободряющий голос начкара, Панкратов остро ощущал свою беззащитность, неподвижно стоя у телефона, и трубку после команды «отбой» повесил с облегчением.

Вдруг дала о себе знать свалывшаяся портянка, которую солдат не решился перемотать: не положено...

Завершая второй круг маршрута, рядовой неожиданно задумался над тем, что за трава растет с обеих сторон кирпичной дорожки – низкая, сплошным ковром простершаяся почти до ограждений. Такую травку, с узенькими продолговатыми листочками, тянущимися прямо от низа вертикального стебелька, как теперь вспомнил Панкратов, любили склевывать гуси у бабушки в деревне.

Недалеко от поворота, ближе к речушке, травка с продолговатыми листочками стала перемежаться с высокой и остролистой, колосающейся и похожей на пшеницу. Начав приглядываться и к другим кустам и травам, в изобилии произ-

растающим рядом с постом, часовой сразу распознал некоторые из них: лебеду, осот, репей-дурнишник, кусты лопуха и хрена, крапиву, одуванчик, подорожник, а подальше – скрывающие тело речушки камыши... Но сколько вокруг оказалось незнакомых растений!

Зонтичное, доходящее до пояса и напоминающее укроп, но с иным, приятным запахом.

Приземистая, мощными кустами гнездящаяся трава, маленькие листочки которой походили на ёлочные иголки.

Остролистное небольшое растение, которое Панкратов из неосознанного любопытства даже попробовал на вкус и сразу сплюнул, почувствовав во рту горечь перца.

Какие-то корзиночки, напоминающие подсолнух, но доходящие лишь до пояса, вьющееся растение с голубыми цветами-колокольчиками, своим стеблем оплетающее чужие; несколько видов кустарников: один с белыми, как у сирени, гроздьями цветов, другие с зубчатыми, но разной формы листьями...

Панкратов вырос в райцентре; в деревне, у бабушки, бывал летом, наездами, и, разумеется, никогда особенно ботаникой не интересовался. Так что откуда солдату было знать, что травка, столь любимая гусями, в просторечии так и называется птичьей гречишкой, а научное её название – спорыш, высокая же и похожая на пшеницу трава – пырей. Что пахучее зонтичное – пастернак, белый корень которого широко используют в качестве пряности; трава с листочками, напоминающими ёлочные иголки, – пресловутая амброзия, а горькое на вкус остролистное растение – водный перец, или горец. Что корзинчатая трава – череда, кустарник с мелкими гроздьями белых цветов – ядовитая бирючина, мелкие и чёрные ягоды которой в народе называют волчьим лыком, вьющееся растение с голубыми цветками – полевой вьюнок и, наконец, кусты с перообразными зубчатыми листьями – молодая поросль вяза и ясеня, размножающихся спорами.

Впрочем, что было часовому до всех этих трав и растений, если на третьем круге патрулирования свалывшаяся портянка в левом сапоге беспокоила всё сильнее и сильнее...

Панкратов замедлил скорость обхода, раздумывая, как бы перемотать её, ни в чём не нарушая устав, и с неудовольствием вспомнил пункт из своих общих обязанностей: «не выпускать из рук оружия». Да-а, стоя на одной ноге, пожалуй, можно одной рукой стянуть сапог и обёрнутую вокруг ступни и голени фланелевую ткань.

«Но только не намотать, – с сожалением сам себе сказал часовой. – А может, портянку в карман, пока не придёт проверка? Не-е, прибодаются... Терпеть надо...»

Чтобы хоть как-то отвлечься от ненавистной портянки, рядовой взялся считать шаги от начала до конца своего маршрута. Прошёл туда-обратно в четвёртый раз и подытожил: туда – двести пятьдесят четыре шага, оттуда – двести шестьдесят два.

Часовой решил для точности сосчитать шаги ещё раз и открыл пятый круг маршрута. Но не успел дойти и до громоотвода, как чья-то тень метнулась за угол хранилища.

До сих пор Панкратов больше смотрел за внешнее ограждение, рассуждая, что из-за внутреннего мало вероятности для нападения. Туда ж ещё через два ряда «колючки» проникнуть надо. И вдруг...

Часовой замер: неужели он просмотрел где-то двойной порыв, и преступник уже в глубине охраняемой территории?

Пожалуй, впервые солдат заметил, что хранилища за внутренней линией колючей проволоки освещены весьма скудно: по единственной лампе над дверями. А ремонтирующийся бокс вообще еле виден в темноте, разве что склад с оружием и боеприпасами, огороженный дополнительной «колючкой» со всех сторон, хорошо просматривается под прожекторами.

Тень неизвестного вновь вынырнула из-за угла хранилища и тут же спряталась. Похоже было, что человек осматривается на незнакомом месте. Панкратов засуетился: хотел бегом вернуться назад, к постовому грибку и отсигналить в караулку. Одновременно же боялся, что сдвинется с места и сразу потеряет нарушителя из виду.

Тень вынырнула в третий раз, задержалась немного, странно задергалась и вновь убралась за угол. Спеша проверить догадку, часовой взглянул вверх и вперед: перед прожектором металась ветвь крупного тополя-осоколя с белым, мертвенным в электрическом свете стволом. Тень ветви и падала временами на угол хранилища.

«Опять чуть не угодил как кур во щи, – с презрением к себе резюмировал часовой. – Сейчас бы поднял панику...»

Не успел он расслабиться и сделать десяток шагов по кирпичам, как по нервам его стегануло звонками из караульного помещения – связь и сигнализацию теперь проверял начальник караула, – и Панкратов помчался к постовому грибку, на ходу выдёргивая из кармана телефонный шнур...

Следующий круг патрулирования прошёл на редкость бесцветно, разве что вдалеке возник и вновь растворился в ночи звук проезжавшего где-то мотоцикла: какой-то припозднившийся рокер гонял, похоже, на «Яве». А мысли часового обратились к мрачному кусочку гражданских воспоминаний – ранней, нелепой смерти одноклассника, разбившегося на скоростном «Иже»...

Возвращаясь от постовой вышки, солдат скорее угадал, а уж позднее услышал шаги группы людей вдалеке. Судя по всему, это должна была быть проверка несения службы. Однако это ещё бабушка надвое сказала, кто именно мог двигаться на сближение с часовым, а посему он затаился за бетонной подушкой громоотвода и, увидев через полминуты тёмные фигуры людей в полосе света на кирпичной дорожке, подал громкую команду:

– Стой, кто идет?

– Разводящий! – услышал Панкратов в ответ.

– Разводящий, ко мне, остальные на месте! – в свою очередь ответил солдат, дождался, пока отделившийся от остальных теней силуэт приблизился на расстояние двадцати – двадцати пяти метров, и прокричал ему: – Осветить лицо!

В правой руке человека зажегся фонарь.

Панкратовым сразу же овладел безотчетный страх. Кто это? Только не разводящий!

Лицо идущего, несмотря на прерывистую линию горящих ламп над «колючкой», было невозможно угадать: фонарь выхватывал только выпуклости, в первую очередь нос. На месте глаз зияли тёмные провалы, над головой красовалось что-то бесформенное, с расплывчато-круглым блестящим пятном в центре. В целом лицо походило на ужасную маску, и от окрика: «Стой, стрелять буду!» – часового удержала характерная походка ефрейтора да его знакомый голос.

Ещё шагов пять подходившего – и маска превратилась в привычное лицо «разводного», а блестящее пятно на «чём-то бесформенном» – в звёздочку на пилотке.

– Ты чего молчишь? – подбодрил часового ефрейтор.

– Остальным продолжать движение! – прокричал Панкратов, взяв автомат в положение «на ремень».

С проверкой приехал ротный. Спросил о настрое, не случилось ли чего на посту за час. Панкратов рассказал о сове, про ежа из стыда промолчал, зато о своих сомнениях после команды «Осветить лицо!» постарался распространиться подробнее.

Неожиданно ротный подал вводную команду: «Нападение на пост справа!»

Оставшись довольным, как бодро часовой шлепнулся всё за тот же громом-отвод, капитан разрешил рядовому перемотать портянку, и на том проверка закончилась.

Когда колонна из трёх человек скрылась из вида часового, ему вдруг до смерти захотелось курить, а сигареты со спичками у приверженцев к табачным изделиям, увы, отбирались ещё перед выходом из караульного помещения – дымить на посту строжайше воспрещалось безжалостным уставом...

Весь восьмой круг Панкратов боролся с неутолимим желанием хотя бы одной затяжки; «распечатав» же девятый, чётко понял, что смертельно хочет спать. Убаюкивало всё: стрекотанье цикад, шум листвы, размеренный ритм патрулирования, даже чередующиеся тёмные и светлые участки кирпичной дорожки, неравномерно освещаемые электролампами.

С усилием размыкая отяжелевшие веки, Панкратов едва удерживал в руках оттягивающий их автомат. Однако накинуть брезентовый ремень на плечо так и не решился, понимая, что в случае борьбы с нарушителем врукопашную окажется стесненным в движениях. Зато догадался засунуть рукоятку автомата за поясной ремень и теперь мог время от времени сменять последовательно поддерживающие оружие за цевьё затекшие усталые руки.

В непрерывной борьбе со сном часовой вновь доложил в караулку, что у него всё в порядке. И только отошёл от постового грибка, как запнулся за край выступающего из дорожки кирпича, чуть было не пропахав по его соседям носом.

«Может, постоять, отдохнуть немножко? – противился солдат искушению. – Не-е, начкар как говорил: если задремлешь и встанешь – потом сядешь, ну а сядешь – так заснёшь. А сон на посту – преступление... Почти...»

Плетясь мимо постовой вышки, Панкратов сумел выделить в вязких мыслях главную: сон очень скоро поглотит его.

Мысль испугала, как ожгла. Часовой остановился и с маху, до боли, дважды хлопнул себя ладонью по щеке. Потом подпрыгнул – повыше. Резко помотал головой. Но сон лишь чуточку отступил, готовый навалиться на человека с новыми силами. И тогда солдат сильно куснул правую руку повыше запястья, у манжета «хэбэ». На коже тёмным эллипсом остался след передних зубов...

«Жалко, что говорить и петь нельзя, – сожалел часовой, минуя израненное дерево. – А как насчет свистеть?»

На середине пути от грибка к вышке Панкратова настиг истерический крик, рвущийся из ближнего хранилища. Сон моментально сгинул. Часовой отпрыгнул со света, присел, направил вперед дуло автомата. Крик не повторялся, но в хра-

нилище что-то с шумом упало, а затем послышался характерный звук, напоминающий куриное хлопанье крыльями. Часовой со страхом выжидал...

Ещё минута – и из-под дверей хранилища вылез огромный кот, который что-то тащил в зубах. «Голубь!» – понял Панкратов, и тут на него напал неудержимый приступ гомерического хохота, который рядовому с трудом удалось подавить, но ещё целый круг патрулирования с его лица не сходила не соответствующая важности боевой задачи улыбка.

Одиннадцатый круг часовой ознаменовал открытием, что замёрз. От земли, особенно в той части дорожки, которая шла параллельно реке, веяло промозглой сыростью. Панкратов теперь жалел, что не надел шинель, выходя на смену, но, с другой стороны, осознавал и то, что как раз в верхней одежде его быстрее мог бы сморить сон.

«Нет худа без добра, – рассуждал, ёжась, часовой. – Сон-то холодом повыбился, а вот закурить бы сейчас – хотя бы изнутри согрелся...»

Рядовой пританцовывал и подпрыгивал, размахивал руками и постукивал подъёмом одной ноги по икрам другой. А немного согревшись, в мыслях вернулся всё к тому же непойманному нарушителю.

«Конец смены, похоже, недалеко, – соображал солдат. – Сколько страхов пережил – и абсолютно попусту: никого и ничего. Даже и обидно!»

Совсем близко от внешнего ограждения кто-то громко и простуженно заперхал. Скользя внимательнейшим взглядом по кустам за проволокой, силясь раздвинуть темноту взглядом, Панкратов так и застыл на дорожке, от страха не в силах двинуться дальше.

На границе освещённой полосы и тьмы, под кустом сирени затаился человек со страшным, бледным, уродливым лицом и в светлой одежде.

– Кхе, кхе, – снова заперхал человек. – Наверное, долго уже так лежал на сырой земле, присматриваясь к часовому и соображая, как половчее его снять, ну и простыл немного.

Панкратов еле пришёл в себя и отпрыгнул со света – в который раз за смену.

– Стой, кто идет? – скомандовал часовой, хотя неизвестный вовсе не шёл, а лежал. Страшная личность продолжала перхать.

– Стой, стрелять буду! – произнес часовой, удивленный эдакой странной реакцией нарушителя.

А уродливый бледнолицый странно покрутил головой, не трогаясь с места. Немигающими глазами разглядывая белеющее лицо, Панкратов судорожно отщёлкнул предохранитель, приготовившись вогнать патрон в патронник, однако шестым чувством угадал очередной подвох караула: перед ним не человек! Собака! Собака со светлой шерстью! Да никак это Буржуй?! А кашляет-то...

Швырнув кусочком кирпича в простуженного «нарушителя», часовой с радостью убедился, что из-под сирени, отряхиваясь, выскочил давно прижившийся возле караульного помещения старый пёс.

Щенком забежал он в поисках пропитания в воинскую часть, а обласканный солдатскими руками, посчитал, что сумел ухватить за хвост изменчивое собачье счастье. Пса в самом начале его «действительной» службы называли Дембелем, но, когда ставший на солдатское котловое довольствие и при случае привороживающий на стороне бывший бродяга наел полукруглые бока, перекрестили в Буржуя.

Было это по меркам собачьей жизни очень и очень давно – одиннадцать лет назад. Освоившийся в части Буржуй быстро избаловался, стал весьма разборчив в еде, а особенно полюбил сахар, за кусок которого готов был продать весь караул.

Днями обленившийся пес обычно дремал где-нибудь в тени, а по ночам, из вредности характера, обожал лазить по постам, пугая часовых, а то и – в зависимости от настроения – наоборот, выбегал впереди проверяющих смену и громким лаем предупреждал бдящего службу.

При первых же признаках дождя Буржуй моментально взбегал на ступеньку перед дверью в караулку, усаживался под бетонным навесом-козырьком и терпеливо ждал. А стоило двери открыться – нырнул в помещение для бодрствующей смены и, как воспитанный пес, не пятнал лапами все комнаты караулки, а сразу укладывался в ближнем углу, под углекислотным огнетушителем. То было его законное, годами упроченное место...

Под треск кустов Буржуй потрусил на другой пост – проверить службу и там. А Панкратов завершил очередной круг патрулирования и внутренне почувствовал: скоро конец смены.

Казалось бы, никто и ничто не сможет уже удивить часового, ну разве что настоящий нарушитель... И рядовой понял, что злоумышленник так-таки пролез на пост, когда шёл мимо неосвещённого хранилища, которое почти вплотную подступало к внутреннему ограждению, и услышал громкий шорох на крыше склада. Солдат даже не успел взглянуть наверх, над собой, как уже второй, сумевший зайти в тыл часовому преступник рукой сбил с него пилотку, – по-видимому, промахнулся, когда пытался ухватить Панкратова за ворот.

Часовой дал стрекача, не оглядываясь, покрывшись холодной испариной и в ужасе ожидая выстрела в спину из какой-нибудь допотопной берданки. На ходу сдернул предохранитель и, резко упав близ постового грибка, уже готов был взвести затвор, но делать этого опять-таки не пришлось.

Вместо группы нарушителей на кирпичной дорожке валялся один-единственный, сдутый сильным порывом ветра с крыши ремонтирующегося хранилища мешок с остатками цемента...

Завершающий круг маршрута часовой прошёл устало и с чувством исполненного долга: как же, не поддастся-таки множеству мнимых страхов. Что ж, быть готовым к любому повороту событий обязывает само звание солдата. А пока...

– Стой, кто идет? – подал команду Панкратов, увидев смутные очертания фигур на кирпичной дорожке.

– Разводящий со сменой, – услышал он в ответ.

– Разводящий, ко мне, остальные на месте! – в свою очередь ответил на совет отстоявший смену часовой...

КАНАТКА

Неформальным лидером в одиннадцатом «б» считался Мишка Железуб. Настоящая-то его фамилия была Кушаров, ну а прозвище прилепилось из-за металлических коронок на верхних резцах: махнули подходящим колышком в уличной драке, они и обломились.

Железуб рос в ущербной семье, где мать, сторожиха ПТУ, не раз в подпитии мирно внушала наследнику: «Есть суп-картошка да диван у окошка, а больше, извини, не нажили, и не вини». Зато отчим по поводу и без такового лупцевал Мишку, пока тому не исполнилось пятнадцать, и тогда-то, при очередной экзекуции, раздавшийся в плечах парень вырвал у пьяного мучителя «воспитательное средство» и, в свою очередь, исхлестал «родителя». Бил с наслаждением, вымещая многолетнюю обиду и беспрерывно матерясь при этом. Потом пригрозил обмочившемуся от боли и страха мужику, что в следующий раз будет пороть, пока тот не обделается по-большому, а на закуску заставит сожрать ремень вместе с пряжкой.

После такой перемены власти в семье мать и отчим вообще махнули на сына – он же пасынок – четырьмя руками, сосредоточившись на добывании спиртного для ежевечерних попок.

Среди школьников Железуб отличался тяжёлой тупостью к наукам. Неосознанно он стремился подменить свои нетвердые знания и низкий интеллект, не сулящий в будущем места под солнцем, авторитетом первого забияки в школе и ближайшей округе. Драться Мишка упорно учился с детства, хорошо умел и любил. Однажды в честном, «раз на раз», бою даже сумел вырубить опытного боксера-перворазрядника: в ответ на правый прямой резко поджал ноги, как бы упав на корточки («прыжок вниз»), и разом нанес коварный удар кулаком в пах. Скрючившегося противника добивал сложенными в замок руками и, наконец, поверженного – пинками.

«Железный» подросток не знал пока, что, повзрослев, уже не сможет получить удовлетворение от обычного образа жизни, испытывая постоянное желание конфликтовать. Грядущее готовило школьному неформальному лидеру незавидную планиду: алкоголизм, а может, и наркомания, уголовщина, решётка...

В какой-то мере свой авторитет в школе Железуб укреплял – помимо литых кулаков – постоянным унижением одноклассника, тихони Анатолия Костова. Сын матери-одиночки, врача-педиатра, худосочный и робкий, он на лету схватывал любой учебный материал, но с физкультурой не дружил. И оказался объектом многолетней нескончаемой травли. Ещё в начальных классах Кушаров подкладывал ему кнопки на стул, срезал пуговицы с пальто, с силой хлопал измазанной мелом ладонью по спине. Не брезговал и просто щипком, толчком, подзатыльником. С годами «шутки» становились всё изощреннее: матерно расписать эрудиту учебник, прибить к полу портфель, на уроке труда намертво закрутить его в тиски, ещё и удлинив их ручку куском трубы, в школьном туалете помочиться жертве на брюки, пристроившись позади...

Железуб как бы мстил Костову за его знания – мелочно, зло, беспощадно. В классе к таким грязным выходкам относились по-разному. Кто побойчее, порой интересовались, чем именно Мосол – обидное прозвище Костову придумал тот же Кушаров – насолил последнему. Но, получив в ответ угрожающее пожелание «заткнуться, пока цел», предпочитали дальше отношений не обострять. Остальные вообще помалкивали в тряпочку.

Явных прихлебал, боготворивших некоронованного короля школы, было лишь трое, и за глаза их называли «Железубов хвост».

Впрочем, за годы учёбы все категории учеников одиннадцатого «б» давно привыкли к умалению достоинства одного соклассника другим, уже воспринимая

это как должное. И вот ведь штука: Костов никогда и никому на Кушарова не жаловался. Ну а учителя стремились прилюдного конфликта не замечать, не пресекать, не предавать гласности.

Нет, конечно, иногда Железуба и наказывали – за слишком уж наглядные его издевательства, да и не только над Костовым. Однако наказания эти лишь подливали масла в огонь нескончаемой травли.

Итак... Стоял погожий сентябрь. Замешкалось что-то лето; как бы собрав остаток сил, щедро посылало нагретые солнечные лучи на маленький город, где жили унижаемый и унижающий. Часть тепла впитывало в себя небольшое озерцо на краю городка. В воскресенье с утра вокруг него облюбовали места многочисленные группы людей – пляжный сезон заканчивался.

– Мосол, а ну «канатнись!» – подначивал Железуб под хохоток прихлебал. – Слабо? Да ведь это же элементарно!

Озерцо лежало промеж четырёх песчаных гор с обжитыми растительностью подножиями. С вершины одной, жестко там закреплённый, спускался тугой стальной трос двойной свивки. Он тянулся над озерцом и другим концом прикручивался к клину, вбитому в подошву второй горы. Обильно смазанные металлические волокна пропустили сквозь обрезок водопроводной трубы с подвязанной к нему длинной просмоленной верёвкой, и кусок оцинковки легко скользил по многослойной нержавеющей нержавеющей. Вот так и получилась своеобразная канатная дорога: на молодёжном сленге – канатка, по которой, при известной смелости, можно было прокатиться особым способом – «канатнуться».

Железуб, перебирая бечеву, прибуксировал кусок трубы к верхнему концу троса, куда взобрался и сам, крепко охватил ладонями оцинковку, решительно оттолкнулся от слежавшегося песка. И гордо помчался на вытянутых руках в вышине над берегом.

– Эгей, держите, сейчас упаду! – в притворном ужасе весело орал он, снижаясь и смешно дрыгая ногами в воздухе. – Але-оп!

Оторвался от высотной дороги метрах в двух от воды, сделал полусальто в воздухе. Нырнул четко, без всплеска.

– Учись, Мосол! – выйдя из воды, покровительственно и чувствительно хлопнул Кушаров Костова по спине с острыми лопатками. – А-а, куда тебе... Рождённый ползать...

И тут подросток, в чей психологический портрет риск никак не вписывался и которого от одного только вида канатки передёргивало, потоптавшись на месте, вдруг полез на гору.

– Ну-ну! – наморща нос, с сарказмом заметил Мишка. – Помечтай давай...

А Костов уже тянул к себе обрезок трубы.

– Ты гля! Ещё и поедет, – вырвалось у «первой трети» Железубова хвоста.

– Хрен тебе по всей морде! Чудес не бывает! – веско возразил сам неформальный лидер, одновременно с первой фразой сложив перед носом прихлебалы дулю, а произнося вторую, рубанул воздух ребром ладони.

...Сделав глубокий вдох, Костов крепко обнял ладонями обрезок гладкой тёплой трубы и в нерешительности застыл на вершине горы: умница-подросток был откровенно трусоват. Остаться ли и дальше мальчиком для битья – сегодня он должен был выбрать. Именно сегодня и сию минуту, поскольку его унижение особенно отчетливо наблюдала первая красавица школы – Людмила Соболева

из одиннадцатого «а». Да не просто видела, а ещё и презрительно скривила пухленькие губки и, адресуясь к стоящим рядом подругам, произнесла:

– Ошибка природы, мальчик-девчоночка... Ха-ха! В юбке была б всё та же размазня. Безупустительно! – неумело щегольнула она оригинальным словечком: в поисках таковых, для поднятия имиджа, порой полистывались словари.

В Соболеву Костов был давно, безумно и безответно влюблен платонической любовью. При этом он никогда не решался сам обратиться под каким-то предлогом к даме сердца – боялся даже приблизиться к ней, опасаясь сразу быть отвергнутым. Да, на то имелись основания: прекрасная половина человечества нередко интуитивно чувствует неудачников, а влюбленный так желал считать девушку идеалом идеалов, замечая в её характере лишь положительные черты...

Он не избрал на роль кумира какую-то актрису или другую женщину-знаменитость, неосознанно отвергая такие сверкающие личности, которых «любят все»: хотел мечтать на уровне возможного исполнения своей мечты. В фантазиях кумир должен был принадлежать ему и больше никому – как любимая игрушка ребёнка. Девственник в воображении своём не мог зайти дальше безобидной эротической картинки: он и любимая девушка лежат раздетые под одеялом супружеской постели, и кумир – нагой и беззащитный – раболепно готов исполнить любое желание мужчины-повелителя.

Ах, как страстно и затаённо ревновал тихоня, едва завидев ни о чем не подзревающую избранницу оживленно беседующей с кем-то из молодцеватых парней! Неслыханное покушение на его собственность-мечту...

Костов безумно боялся потерять её, не представлял, как будет жить без своего великого секрета. И сегодня ему пригрезилось, что первая красавица школы о нём как-то подсознательно узнала. Узнала и решила проэкзаменовать... Что ж, прокатившись по канатке, он должен был доказать Соболевой: он – такой же, как все, однако именно для него подобный поступок был почти равен героическому.

– Трус! Слабак! Сопля! – безжалостно оценил Железуб нерешительность замёршего на старте канатки Костова и сочно сплюнул.

А тот, нисколько не обращая внимания на слова мучителя, выжидательно взгляделся сверху в свой идеал, и насмешливо-испытующий взгляд скрестился с боязливо-нервным.

Через несколько мгновений наблюдательница демонстративно и высокомерно повернулась к наблюдаемому спиной. И здесь...

– Гробанется! – воскликнула «вторая часть» Железубова хвоста.

Чёткий на фоне безоблачного неба человеческий силуэт разрезал высоту над озерцом. Но уже на первой трети воздушного пути запачканные смазкой ладони соскользнули с оцинковки – Костов замарался о трос, подтягивая по нему обренок, – и дальше помчался по шершавому металлу на собственных руках. Увы: в эмоциональном порыве забравшись на канатку, подросток понятия не имел о тонкостях езды по ней – пальцами-то следовало охватывать середину и ближний конец куска трубы, но никак не дальний.

Застывшие, как на стоп-кадре, люди на пляже разом внутренне напряглись, ожидая истошного крика и падения с большой высоты. Но судорожно цепляющийся за маслянистый витой трос, на каждом сантиметре стирающий кожу о стальные волокна, Костов молчал, продолжая съезжать ниже и ниже.

В те ужасные, переломные секунды жизни он думал вовсе не о том, что может упасть и разбиться насмерть или, если повезет, отделаться переломами, но как не упасть в глазах тайно любимого человека.

«Не дотерпит до воды! Сорвется!» – преследовала всех одна мысль.

Близкое к шоковому состояние охватило в тот момент и Железуба. Понимая, что одноклассник может погибнуть, Кушаров испугался вовсе не реальности смерти унижаемого им, а её последствий. И ещё четко осознал, что вне любого исхода ситуации авторитет его впредь не будет столь незыблем...

К изумлению многих отдыхающих Костов, всё так же молча, сумел до воды дотянуть – боль перешла границы крика. Солдатиком бухнулся в озерцо метров с четырёх. Несомненно, сильно ушибся. Когда, хромая, выходил из воды, люди на берегу ужасались, наблюдая, как со сжатых кулаков подростка непрерывно скапывает кровь.

Он медленно, с натянувшейся на скулах кожей и стиснутыми губами, приблизился к давнему обидчику. Остановившись в метре, неожиданно вскинул-разжал руки, демонстрируя стёсанные до мяса ладони. Триумфально отчеканил:

– Повтори! Слабо? Да ведь это же элементарно!

Железуб отшагнул назад и каменно, исподлобья уставился на многолетне притесняемого им человека. Кровь тяжело и обильно стекала с его узких израненных кистей: ниже... ниже... Казалось, предплечья сами собой тягуче облакаются в алые перчатки. И тут вдруг невдалеке раздались очень характерные звуки.

Какое неаппетитное зрелище! Это дико и безостановочно рвало на прибрежный песок первую красавицу школы.

Костов невольно перевел на Соболеву победный взгляд... Перед ним, в явно невыигрышном положении, предстала полупородистая хищница, бесстыдно злоупотребляющая косметикой, в чересчур открытом для похотливых глаз купальнике и к тому же совсем не к месту противно хихикнувшая уже после неожиданного опорожнения желудка. Растерянность и ограниченность заурядной троечницы прямо читались в её бегающем пустопорожнем взоре. Секундное замешательство – и под бесцеремонными ухмылками окружающих, упрятав в ладонях пылающее лицо и забыв про одежду, она бросилась с пляжа.

Анатолий апатично смотрел вслед своей развенчанной мечте.

С того дня Железуб насупленно-уважительно обходил его стороной.

Светлана
ВОЛОДИНА

СТИХИ

* * *

Я хочу в семидесятые, домой.
Этот век, юнец расчётливый, – не мой.
Он одет излишне броско,
Он с галактикой на «ты»,
В суперплеере японском
Супермодные хиты.
Воют «звёзды», как весенние коты.
Я хочу в семидесятые, туда,
Где кораблик первый мой несла вода,
Уплывал он прочь от суши
В тех далёких берегах,
Где награды, званья, души
Не стояли на торгах,
И победам счёт вели мы не в деньгах.
Разменяю и комфорт, и блеск витрин
На один всего лишь день, на час один,
Чтобы мне в ладони лёг он
Колокольчиком лесным
В далеке моём далёком,
В самом сердце той весны,
От которой мне остались
только сны.

ЗИМА

Белая хрустящая зима,
Как невесту, Чердынь нарядила.
Понакрыла шубами дома,
Снегом тополя посеребрила.
Словно блюдце стали небеса –
Синие с каёмкой золочёной!
Дарит лес-волшебник чудеса
Для своей невесты наречённой...

• **Светлана Володина** (1969 – 2010) – российский писатель, поэт. Родилась в старинном русском городе Чердынь. Здесь зажглась её яркая поэтическая звезда и прошла вся жизнь, короткая и невероятно трудная. Стихи писала с ранних лет. Окончила Чердынскую среднюю школу, Уральский государственный университет имени А. М. Горького (факультет журналистики). Работала в редакции газеты «Северная звезда» и Чердынском краеведческом музее им. А. С. Пушкина. Любовь к малой родине вдохновляла её на творчество и даровала силы. Выпустила в свет 14 книг стихов и прозы. Член Союза писателей России (1998) и Российского авторского общества (1998). Почётный гражданин г. Чердынь (1997). В последней книге «Жизнь – река» (2012), которую автору уже не пришлось увидеть, представлены её размышления о войне и мире, дружбе и предательстве, о жизни и смерти.

Улеглась метелей кутерьма,
И луна дороги заискрила,
Белая хрустящая зима,
Как невесту, Чердынь нарядила.

* * *

Ах, город по-над Колвою рекой!
И набожный ты мой, и суеверный...
Пусть малый говорят, а ты такой...
Такой по-настоящему безмерный.
В венце веков и в круговерти лет
Мне семь холмов твоих даны от Бога –
Семь благодатей, семь горючих бед
И семь дорог от отчего порога...
Ах, город по-над Колвою рекой,
В безвременье застывший одиноко...
Врывается в таинственный покой
Лишь колокол, вздыхающий глубоко.
Ты – вечности туманный силуэт,
Скорбящий так возвышенно и просто.
Семь благодатей, семь горючих бед –
Им жить во мне до самого погоста.

* * *

Дождик ставит на асфальте многоточие,
Значит, будет продолжение истории –
Силуэты в тёплых сумерках и прочие
Осенённые туманом аллегории.
Улыбнёмся мы ещё деньку погожему,
В старом парке голубей накормим крошками,
И помашет вслед случайному прохожему
Клён скрипучий обожжёнными ладошками.
Синева – как на тарелочке фарфоровой,
По аллеям – длинных теней междустрочия.
Осень пишет мне: «Люблю. Пока... До скорого...»
А в конце строки – дождинок многоточие.

* * *

Родина! А слово-то какое –
Будто лучик первого тепла.
Песни ширь над Колвою-рекою,
Лёгкий шелест птичьего крыла...
Здесь кукушка трепетно тоскует,
Обещая даль туманных лет,

Новый день с улыбкою рисует
Живописец – пламенный рассвет.
Родина! Черёмухи цветенье,
Нежная июльская теплынь,
И любви нежданное смятенье,
И разлуки горькая полынь.
В кружевах листвы и зимней ночи,
Под сияньем лунных покрывал
Ты – всеисцеляющий источник,
Ты – моё призвание, Урал!
Родина, твой тяжкий путь приемлю:
Вместе нам и петь, и слёзы лить,
Потому что Чердынскую землю
Никогда уже не разлюбить.

ПАСХА

Помню, дерзкий луч, шагнув по подоконнику,
Расстился до двери половиком.
Я вставала и бежала к рукомойнику
Вдоль по солнечной дорожке босиком.
В доме пахло молоком и сладкой сдобой.
Жаром веяло из топленной печи,
И теснились на скатёрке белолобые,
Ароматные красавцы-куличи.
Хлопотала над изюмной пасхой бабушка
В белом с тёмными узорами платке,
И теплилась зыбким пламенем лампадушка
Перед образом Господним в уголке.
Любопытство жгло меня неутолённое,
На скрипучий стул взбиралась я тайком
И в глаза смотрела долго просветлённые
За дрожащим синеватым огоньком.

* * *

Всё, что ты создаёшь – не канет,
Если в сердце любовь царит.
Цвет вишнёвый, узорный камень
Рук твоих теплоту хранит.
Проходящи людские лета,
Но пока ты живёшь – твори
Танцем глины, строкой сонета,
Песней вечности говори.
Этот мир украшай искусно
Кистью, бисером и резьбой,

И тогда не остынут чувства,
Что владеют сейчас тобой.
Миг волшебный, незримо тонкий,
Словно эха раскат в лесах...
Угадают ли в нём потомки
Вдохновенную суть творца?
Угадают, улыбкой встретят,
И в веках отзовется вновь
Всё, что ты создаёшь на свете,
Если в сердце живёт любовь.

Я ЖИВУ НА УРАЛЕ

Я живу на Урале, в глубинке,
Где ветра о свободе поют,
Где мелькают лесные тропинки,
Там, где хмурится старый Полюд...
Здесь по Колве, по узенькой речке
Ходит маленький старый паром,
А зимою здесь топятся печки,
Избы тонут в дыму голубом...
Всё так мило и сердцу знакомо:
Запах хлеба и шелест берёз,
Тёплый свет от родимого дома
И хрусталь родниковых слёз...

* * *

Кто со мною поспорит – не знаю.
Только в радости ночи и дня,
В улетающей осенью стае –
Небольшая частичка меня.
И в смолистой кедровой шишке,
И в ручьях, что весною звенят,
В бойком маленьком воробьишке –
Небольшая частичка меня...
В каждой радужной чистой росинке,
В каждой капельке малой дождя,
В белоснежной алмазной снежинке –
Небольшая частичка меня...

* * *

Пуще всех осанкой благородною
Сердце государево знобил
Щедростью обласканный природною
Сын меньшей Никиты – Михаил.

Шли из белокаменной обозы –
Смерти чернокрылые гонцы.
В глушь, в леса, в таёжные морозы
Волокли боярина стрельцы.
Ныробцы Романова кормили,
К яме пробираясь втихаря,
Под могучим кедром хоронили
Родственника русского царя.
Сколько здесь ещё перебивало
Горемычных в северных снегах!
Знамя цвета крови раздувало
Ветром на холмистых берегах.
В память навсегда вонзилось это:
Женщины печальной седина
И глаза опального поэта
В пропасти больничного окна.
Припадали к трепетному полю,
В нём топили слёзы и мечты,
Жадными глотками пили волю
Одухотворённой красоты.
А она смиренно вышивала
Васильками синими поля,
Верила, жалела, утешала
Покаянных ссыльная земля.
Ей одной доподлинно известны
Судьбы бородатых мужиков,
Гнивших по селениям окрестным
В мраке закатившихся веков.
И поныне так не оттого ли
Лес ревниво тайны сторожит?
Люд прикамский пуще сладкой воли
Ссыльную землёю дорожит!

МОЯ ПОЭЗИЯ

Вдруг волной накатывает грусть –
Только что смеялась и шутила.
Отчего – сама не разберусь –
Есть во мне таинственная сила.
Эта сила манит наугад
В ту страну, где сказочное эхо,
Где в цветах негаснущих лампад
Зреют гроздья первого успеха.
Эта сила бешено несёт
То ли в пропасть, то ли в поднебесье –
Радости измученный полёт,
Только в нём душа моя воскреснет.

В час, когда в безверье окунусь
И рутина свалится на плечи,
Милая лирическая грусть
Вновь меня от суетности лечит.

* * *

Я русская, я русская душой.
И никаким далёким дивным странам
Не заслонить любви моей большой
К родной земле, к её глубоким ранам.
Ты посмотри, космическая даль,
Взгляни своими звёздными очами
На наш российский солнечный алтарь
С берёзовыми белыми свечами!
Настанет день однажды – и сорвусь
В какую-то немыслимую бездну,
Но оттого, что есть на свете Русь,
Я никогда бесследно не исчезну.
Сосновый хор и жёлтые поля,
И лунный свет над заводью лесною...
Всегда со мной ты, отчая земля.
Я русская, я русская душою!

* * *

Я по ночам, раскинув руки,
Легко танцую между звёзд.
Струятся бархатные звуки,
Как медь осенняя волос.
Под вальса лёгкую беспечность
Среди огней шальных лечу
На свет созвездий в бесконечность...
И просыпаться не хочу!

БАБУШКИНЫ РУКИ

Памяти Марии Яковлевны Хмелевой

Я во сне, исполненном печали,
Бабушкины руки узнаю,
Те, что так заботливо качали
Колыбельку детскую мою.
Если б мы судьбу вершили сами
От разлук бескрайних вдалеке,
Я теперь припала бы губами
К жилистой натруженной руке.

Мы без слов бы поняли друг друга,
И слеза катилась бы, смела...
Но меж нами путь седая вьюга
Беспощадным снегом замела.
Время от вины не избавляет,
От невольной слабости – любить,
И уже ценить не позволяет
То, что мы готовы оценить.
Эта боль настойчиво тревожит,
Не отступит, сколько ни гони.
Сожаленье тягостное множит
Памяти сигнальные огни.
Нежность слов и губ я раздавала
Тем, кто не оставил и следа.
Почему же я не целовала
Бабушкины руки никогда?

* * *

Вы меня не жалеите, не надо,
Никогда не жалеите меня!
Снам моим безутешным награда –
Голубое сияние дня.
Я зерном своё сердце бросаю
В тёплый мрак посевной полосы
И опять, и опять воскресаю
Юным колосом в каплях росы.
Я снегами апрельскими таю,
Облаками кружу над тайгой,
С тонких веток, дрожа, облетаю
Белоснежной вишнёвой пургой.
По асфальту ледышками града
Снова импровизирую джаз...
Вы меня не жалеите, не надо,
Я намного счастливее вас!

Подборку составила *Марина Ветчакова*
(г. Чердынь)



Лариса
ГОРДЕЙ

ОДНА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ УМКА

Рассказ

Жизнь не может быть длиннее любви. И ничем иным, кроме любви, быть не может. И всё же она иногда продолжается даже после предательства.

Ещё утром щенок был дома. Он сонно тыкался носом в тёплое тело мамы и ощущал запах молока. Потом человек взял его на руки. Дверь дома захлопнулась, повеяло холодом, но куртка человека была внутри почти такой же уютной, как и бок мамы, щенок успокоился и уснул. Проснулся, когда тепло сменилось ветром и холодом. Озябшие (даже в перчатках) руки человека опустили щенка в чуть подтаявший и потому сразу же окативший стужей снег. Пока щенок пытался сообразить, где он, человек ушёл. Как вести себя в этом непривычном мире, щенок ещё не знал.

Лапки стыли от грязной жижи, где-то внутри противно сосало от ужаса, а вокруг не было никого, кто мог бы помочь. Щенок метался из стороны в сторону, но сырость и холод казались бескрайними. Он уже совсем выбился из сил, когда на тропинке неподалёку появилась женщина. Она не была похожа на хозяйку его мамы: шаркала ногами в неуклюжих ботах, временами останавливалась, что-то бормоча; но ведь вдвоём не так страшно, как одному – и щенок собрался с остатками духа.

– Ну, куда ты идёшь? – озадачила щенка вопросом старушка.

Щенок присел, призадумался и снова засеменял за замызганными грязью ботами.

– Что ты увязался следом? Некуда мне тебя взять. В городе живу.

Но щенок не отставал. А старушка, обрадовавшись неожиданному слушателю, всё говорила и говорила: о погоде, воскресенье, церкви, прощении, о Божьей милости и Рождестве. Щенок ничего из тех рассказов не понимал,

• **Лариса Гордей** родилась в Северодонецке Луганской области (Украина). Окончила филологический факультет Донецкого государственного университета. Журналист. Работала в редакциях газет.

но он был не один. Правда, недолго. Километра через два (как скажут позже люди) дверь перед его носом захлопнулась, спрятав за собой говорливую старушку. Щенок решил ждать. Не потому, что он на что-то надеялся, – он просто устал.

Лапки стыли всё больше и больше, в животе урчало. Но вот наконец снова открылась дверь, и щенок стал искать знакомые грязные боты.

– Ты ещё здесь? Но я же сказала, что не возьму. – И они вместе пошли обратно.

Оказавшись на пустыре, щенок понял, что странное недоброе утро повторяется. Но навстречу снова шли ноги в мокрых от таявшего снега сапогах. Много ног.

– Возьмите собачку. Она за мной в церковь ходила и обратно увязалась, – отчаявшись, тараторила старушка.

– Нам некуда.

– Бросите в деревне у какого-то двора, а то ж замёрзнет.

– Нет.

Щенок не понял этого «нет», он подумал немного и побежал вслед за толпой сапог. Снег перемешался с водой и песком, он противно цеплялся за живот и лапы, но остаться одному было страшно. Навстречу неслись машины – именно так называла эти рокошущие существа та случайная старушка. Там, где машины примяли снег своими огромными лапами, было легче бежать. И щенок выскочил на эту полосу тёмной воды.

– Стой! Раздавят! – и чьи-то руки выхватили щенка из-под лап этих странных машин. Это не были руки хозяйки его мамы. Но от них веяло теплом, а на чловеке была куртка, под которой можно согреться.

Щенка принесли-таки в дом. Это был не тот дом, где он жил ещё утром, но здесь тоже было тепло, пахло едой и были люди. Они о чём-то говорили. Нервно. Недолго. ...И щенок снова оказался на улице. Перед его носом закрылась дверь, которую здесь называли калиткой. Сил куда-то идти не осталось. Щенок сел прямо в лужу и заскулил. Потом ещё раз посмотрел на калитку, отделившую его от тепла, и, отчаянно твякая, принялся рыть землю.

Ему отворили, и щенок наконец-то обрёл новый дом и имя – говорят, немного медвежье – Умка. Но какая разница, как тебя зовут, если тебя принимают!

Со щенком снова разговаривали, играли, его кормили и лечили, когда начинали болеть застывшие в рождественскую слякоть лапы. Его любили.

Но в любви, как известно, не бывает всё гладко. Вот и у щенка вскоре появился друг-соперник – кот. Время от времени они затевали свару из-за внимания хозяев и более лакомого кусочка, но в основном ладили. Тем более что оба были свободны: щенок, даже повзрослевший, не знал цепи. А ещё у него был персональный просторный и тёплый дом во дворе – конура.

Впрочем, июньские ночи и без конуры тёплые и ароматные, а ещё в них многократным эхом отзывается каждый шорох: захочешь уснуть сразу, да не получится. Вот и в этот раз Умка забрался в конуру только перед рассветом. Едва сомкнул глаза – раздался грохот. Он не был похож на гром или стук закрывшейся дверки автомобиля. Он вообще ни на что не был похож – ни на один звук, который Умке доводилось слышать ранее. Стало немного страшно.

Дверь хозяйского дома распахнулась, и четыре пары ног засеменили к подвалу. Что-то было неладно. И это «неладно» стало повторяться каждое утро. За-

тем и каждый вечер. А когда обстрелы (именно этим словом хозяева именовали новые для Умки звуки) стали случаться и днём, хозяева вызвали такси и, поручив Умку соседке, уехали. Говорили – ненадолго.

Умка уже был большой – вроде бы горько от разлуки, но скулить ему не пришлось. И всё же тоска да одиночество делали своё дело.

«Хорошо коту», – думал Умка, поглядывая, как тот перемахивает через забор и уходит к соседям помурлыкать о том о сём, потереться о чью-то тёплую ногу. Думал и рыл яму под калиткой, разгрызая и разбивая в щепки не очень новые доски. После калитки настал черёд забора и наличников у двери. И когда пёс в день выборов (надо же, какое совпадение!) ушёл-таки из дома, его вернули обратно и посадили на цепь.

Но не возле его конуры, где цепи не было, – цепь была у дома пса, которого хозяева похоронили до этого странного грохота по утрам. В этом закутке двора были глухие заборы и кирпичные стены построек, и только прямо перед конурой оставалось открытое пространство, а за ней – «смотровая площадка», насыпь над подвалом. Вот эти «окна» и позволяли псу наблюдать за продолжающейся в посёлке жизнью. Но просто наблюдать – мало даже для одинокой собаки.

Впрочем, соседка, взявшаяся кормить Умку, по-прежнему приходила во двор каждый день с большой кастрюлей вкусной каши и парой бутылок воды. Она тщательно мыла Умкины миски. Насыпала кашу ему и коту. Давала десерт – мозговую косточку или сухарики (их Умка тоже очень любил). Несмотря на свою аллергию, соседка гладила пса, снимала с него ошейник и позволяла Умке немного побегать по двору, поиграть с ней в мяч. Затем наливала воду. И всё это – раз-го-ва-ри-ва-я. Для Умки песней звучали её рассказы.

Затем соседка уходила домой. Вслед за ней и кот перемахивал через забор. А Умка снова оставался один на один с этим надоедливym грохотом и не менее изматывающим одиночеством.

Как-то соседка повредила ногу. И вместо неё пришла другая женщина – совсем старушка. Умка поладил и с ней.

По выходным к Умке навевдалась та девочка, которая давным-давно (в той ещё, тихой, без этого – будь он неладен – грохота, жизни) выхватила его из-под лап машин и отогрела под своей курткой. Когда девочка орудовала во дворе или в огороде то тяпкой, то граблями, Умку спускали с цепи, и он неспешно прохаживался по двору. Иногда и по краешку огорода. Впрочем, это было уже нарушением правил.

Иногда эта вольница растягивалась на весь день. Но бывало, испугавшись усилившегося грохота, девочка торопила маму домой. Где был её дом, Умка не знал. Его туда не брали, объясняя: пока ты здесь – авось, и воры ничего не тронут; будут думать, что всё ещё живут люди.

А люди – Умкины люди – всё не возвращались и не возвращались.

Наступила осень, а затем и зима. Кот подселился в конуру к Умке. Вдвоём было теплее и не так тоскливо.

Морозы сменила оттепель. Снова запахло сиренью. Потом наступила жара. За нею посыпались листья. Сколько раз так повторялось, Умка не знал. Вернее, даже не хотел знать. Он хотел, чтобы во двор навсегда вернулись его любимые люди. Но люди не возвращались.

Вместо них ночью пришли какие-то злыдни. Они кидали палки в Умку, выбили дверь в дом, распахнули в кухне окна.

Пришедшая утром соседка очень переживала и звонила в полицию. Полиция тоже оказалась чужими для Умки людьми. Тогда пёс ещё не знал, что и с этими людьми ему ещё придётся свидетелься.

Время шло. Грохот случался реже и становился тише. Но Умкины люди не возвращались. Однажды не стало кота – уснул и не проснулся. Одиночество стало невыносимым. Хорошо хоть соседка продолжала приходить каждый день. Умка узнавал уже не только её шаги у калитки. Он чуял её всем своим естеством, когда она в своём дворе только брала в руки кастрюлю.

Постепенно Умка смирился с тем, что соседка – едва ли не единственный его собеседник. И от этого спокойствия даже чуть поправился. В очередной приход соседка немного ослабила ошейник. Да, видать, зря.

Наутро в Умкином дворе её ждали только бесхозная цепь, такой же ошейник и свежеврытая яма под забором. Умки нигде не было. Соседка ещё пару недель выскакивала за калитку на каждый собачий лай и ежедневно искала Умкины следы – сначала на ещё не растаявшем снегу, потом на оголившейся почве. Но их нигде не было. Умка исчез. Как сквозь землю провалился.

Возможно, сказался март. А может быть, пёс просто устал от одиночества и бессмысленности ожидания. Ведь он так любил поиграть с людьми, так внезапно покинувшими его людьми, с его любимыми. Похоже, что и собачья жизнь не может быть длиннее любви. И ничем иным, кроме любви, быть не может.

Юми
КАЭДЭ

ТАНЕЦ ПЫЛИНОК*

Дневники

Предлагаемый вниманию читателя дневник предположительно относится ко второй половине XI века. Имя автора – Юми Каэдэ – условно, так как не в традициях японского средневековья было бережно хранить имена женщин. Обычно они (даже те, чьи произведения впоследствии получили мировое признание) известны нам как чья-то дочь, жена, мать, по должностям, занимаемым мужем или отцом, названиям провинций, где они служили.

Доктор Такэси Каэдэ впервые опубликовал («переведя» на современный японский язык) неизвестные рукописи, получившие условное название «списки Каэдэ». Под фамилией учёного стала фигурировать и женщина – автор дневника. Позднее возникло предположение, что её «домашнее» имя – Юми.

На русский язык из этого дневника были переведены отдельные стихотворения, вышедшие в сборнике «Поведал странник» (М.: Время, 2013).

Как же права Сэй-Сёнагон¹ – кисть и новая бумага, даже если она не из Митиноку², приносят утешение. Хочется написать что-то необыкновенное. Но мысли путаются. Позже я попробую описать случившееся за последние дни, а пока... Очень люблю сэдоки³, хотя сейчас их почти никто не пишет. Некоторые даже упрекают меня за приверженность к шестистишиям. Но у меня есть оправдание – сам Ки-но Цураюки⁴ не пренебрегал сэдокой.

А пока написала:

*Из Митиноку
Листы бумаги белой
Благоухали сладко.*

* Журнальный вариант. Назван по строке одного из стихотворений Юми Каэдэ.

¹ Сэй-Сёнагон (ок. 966–1017?) – писательница и придворная дама, автор знаменитых «Записок у изголовья». **Здесь и далее звездочкой обозначены примечания переводчика, если не оговорено иное.**

² Митиноку – историческая область на северо-восточном побережье о. Хонсю, где из коры бересклета производилась плотная бумага.

³ Сэдока – буквально «песня гребцов» – шестистишие из 38 слогов, с распределением по строкам 5/7/7/5/7/7. К XI в. эта форма почти не использовалась.

⁴ Ки-но Цураюки (ок. 866–945) – японский поэт, теоретик стихосложения, прозаик, филолог эпохи Хэйан. Один из 36 бессмертных поэтов японского средневековья.

*Так одиноко
Луна на небе тлела.
Тусклее, чем лампадка¹.*

Написала – и правда, настроение улучшилось....

* * *

Час ночи летом короче, чем час днём². И это хорошо, если подготовлена к утреннему событию – остаётся только скоротать время до того, как встанет солнце. На присланном экипаже я поеду во дворец, где увижу саму принцессу Сёси. Надеюсь, она одобрит мой наряд и перламутровую заколку. Жаль, что нефритовые украшения пропали безвозвратно. Коварная Сануки. А я ведь искренне к ней привязалась. Нет, не буду об этом думать, чтобы не расстраиваться перед завтрашней встречей. Но и совсем выбросить из головы не удаётся. Ладно бы украсть только драгоценности, но вместе с ними пропали мои дневники и, самое главное, танки³, написанные для встречи с принцессой Сёси. Я их даже выучить не успела. Помню только, что они были удачными. Надеяться, что соккёси⁴ получится не хуже? Или попробовать написать что-нибудь сейчас? Час Быка⁵. Времени мало. Жаль, что час ночи летом короче, чем зимой.

* * *

Час Тигра⁶.

Попробовала написать новые танки. Не получилось ничего достойного слуха принцессы Сёси. Возникли только строки:

*Ни светлячкам, ни коту
Не рада отчего-то.*

Но это совсем не для такого случая.

¹ Видимо, основой для написания сэдоки послужили слова Сэй-Сёнагон в «Записках у изголовья»: «Сердце радуется, когда пишешь на белой и чистой бумаге из Митиноку такой тонкой-тонкой кистью, что, кажется, она и следов не оставит» (глава «То, что радует сердце»); «Но если в такие минуты попадетса мне в руки белая красивая бумага, хорошая кисть, белые листы с красивым узором или бумага Митиноку, – вот я и утешилась. Я уже согласна жить дальше» (глава «Однажды, когда государыня беседовала с придворными дамами») (См. перевод В. Н. Марковой). (Здесь и далее полужирным шрифтом обозначены примечания Такэси Казэдэ).

² В Японии сутки делились на 12 частей (токи), 6 из которых приходилось на светлое время, начинающееся с рассветом, 6 – на тёмное, начинающееся с закатом. Эти промежутки носили название зодиакальных знаков: «час мыши», «час быка» и т. д. Во время весеннего и осеннего равноденствия такой «час» равнялся нашим 120 минутам. Продолжительность светлого и тёмного времени суток зависела от сезона, поэтому летом, когда временной промежуток от заката до рассвета короче, чем от рассвета до заката, длительность «ночного часа» была короче и составляла в мае 100 мин., а «дневной час» длился 140 мин.

³ Танка – пятистишие, состоящее из 31 слога с распределением слогов по строкам 5/7/5/7/7. Основной поэтический жанр в эпоху Хэйан.

⁴ Соккёси – стихотворный экспромт.

⁵ Между 1–3 часами ночи.

⁶ Между 3–5 часами утра.

Когда позавчера вечером мы с Харинэдзуми¹ (никогда больше не буду называть так эту достойную женщину, даже про себя) возвратились домой, то застали полный разгром, учинённый коварной Сануки. Я решила, что в мире нет никого несчастнее меня. Сложила грустную танку, но не записала – не было ни бумаги, ни кисти, ни туши. Вместе с ними пропали и драгоценности, и наряд, приготовленный для поездки во дворец. Всего не перечислишь. Даже медное зеркало, которое давно пора было отчистить от патины соком граната, пропало. Конечно, в тот вечер светлячки, которыми я обычно люблюсь, не могли радовать меня. А кото², не тронутое воровкой, наверное, в спешке, я всегда ненавидела. Мачеха³ часто укоряла меня за плохую игру. Я, впрочем, не обижалась. Глупо не признавать, что музыкальные инструменты мне не даются. Но, помнится, Мурасаки Сикибу⁴ тоже сетовала, что не достигла мастерства в игре на кото, и играла лишь для себя. Но мне и для себя играть не хочется. Мачеха утверждала, что если я не научусь, то замуж не выйду никогда – не помогут ни стихи, ни наряды. Хотя я не слышала, как она играет сама, но предполагаю, что хорошо, раз мой отец на ней женился. Надо сказать, что с мачехой, несмотря на её переменчивый нрав, мне повезло несравнимо больше, чем Прекрасной Отикубо⁵. Бедная девушка. Хотя в конце концов справедливость восторжествовала. Очень люблю «Повесть о Прекрасной Отикубо».

* * *

Утром Харинэдзуми с трудом разбудила меня, а когда сборы подходили к концу, из дворца приехал слуга, сообщивший, что принцесса Сёси нехорошо себя чувствует и встреча переносится на неопределённый срок.

Наверное, небесные боги заняты своими делами и не смотрят на меня. Интересно, сколько людей сейчас в Хэйанкё?⁶ И если каждый будет возносить молитвы, то небесные боги просто не смогут выполнить все просьбы. Хотя если они не станут помогать гадким людям, будет только лучше. Но ещё вчера утром я считала Харинэдзуми скучнейшей особой, а Сануки – очень милой и, конечно же, при первой возможности исполнила именно её просьбу. Ошибалась.

Хорошо бы посмотреть на Хэйанкё. Но Харинэдзуми куда-то ушла.

¹ Харинэдзуми – буквально «Ежиха».

² Кото – напоминающий цитру щипковый музыкальный инструмент, длина которого около 180 см.

³ Девушка употребляет слово, буквально означающее «преемница матери». Оно звучит несколько нежнее, чем наше «мачеха».

⁴ Мурасаки Сикибу (вторая половина X в. – первая половина XI в.) – придворная дама и писательница, автор всемирно известного «Гэндзи-моноготари». Видимо, имеются в виду слова из её дневников: «Вспоминаю вечера: уже повеяло прохладой, а я неумело играю на кото – сама для себя» (перевод А. М. Мещерякова). Но, по отзывам современников, Мурасаки Сикибу в игре на кото достигла большого мастерства.

⁵ «Повесть о прекрасной Отикубо» написана во второй половине X в. Автор неизвестен. В основе лежит сюжет о злой мачехе и доброй падчерице.

⁶ Хэйанкё (Киото) – «столица мира и спокойствия» – город был столицей Японии в 794–1869 гг.

* * *

Пыталась привести в порядок всё, что осталось после ужасного поступка Сануки. Немного. А ведь всё самое ценное из Нары¹ мы взяли с собой. Через несколько дней должны привезти остальные вещи.

Обрадовалась, что сохранились древние китайские монетки², круглые, с квадратным отверстием посередине. Их мне когда-то подарил господин Оэ – приезжавший в гости друг отца. Я тогда была маленькой, уже не помню, почему плакала не переставая, а господин Оэ, чтобы утешить, рассказал, что его дедушка бывал в Китае³ и что есть страны, где живут люди с тёмной кожей, но которые почитают Будду. «А как можно не почитать Будду?» – удивилась я. Господин Оэ рассмеялся и подарил мне четыре монетки. Одну из них я потом отдала брату. Остальные берегла, и они сохранились только потому, что в тот день я взяла их с собой на восточную рыночную площадь⁴, куда ходила с Харинэдзуми. Не истратила ни одной, хотя видела много интересного. Рынок больше, чем в Наре.

* * *

Путь от Нары до Киото показался мне длинным. Может быть, потому, что по совету гадателя, к которому обратилась мачеха, мы сначала поехали в другом направлении⁵ и провели ночь в чужом доме?

Всю дорогу мне было грустно. Вспоминала Того, о ком писала в дневнике⁶. По сторонам почти не смотрела. Лёгкие облачка пыли из-под колёс да огромные тёмные тучи, явно предвещавшие дождь, который так и не пошёл, – вот и всё, что запомнилось.

Сочинила несколько танок, но запомнились только две.

¹ Нара (Хэйдзё) – столица японского государства в 710–784 гг. до переноса её в Киото (Хэйанкё).

² Рынки в то время в основном были меновыми. Выпуск собственных монет в Японии стал осуществляться с VIII в., но с X в. был прекращён. Официальные связи с Китаем с середины IX в. практически прервались. Китайские монеты представляли определённую ценность и обладали покупательной способностью.

³ Хотя к X в. официальные контакты между Китаем и Японией прекратились и обмен посольствами не осуществлялся, но неофициальные контакты – частные визиты, торговые отношения – имели место.

⁴ В Киото было два рынка, расположенных симметрично в восточной и западной частях города. Рынки работали попеременно: в первую половину месяца – восточный, во вторую половину – западный. Первоначально восточная и западная половины столицы были зеркальным отражением друг друга. Уже к X в. западная половина переживала упадок.

⁵ Жизнь человека в эпоху Хэйан, согласно синтоистским верованиям, подчинялась сложной системе ритуальных запретов, в том числе и на выбранное направление движения. Перед путешествием обычно обращались к гадателям, чтобы узнать, не заграждает ли путь какое-нибудь божество. Если направление оказывалось «под запретом», его меняли, выезжая сначала в другом, безопасном направлении, останавливаясь на какое-то время в чужом доме, и только потом следовали в нужную сторону.

⁶ Японцы редко использовали имена, часто называя человека по степени родства, занимаемой должности, отличительной черте и т. д. «Тот, о ком писала в дневнике» заменяет имя человека, которое Юми желает скрыть.

*Как далеко-то
От Нары до Киото!
Пыль из-под колёс,
Едущих неохотно.
Тучи набухли от слёз.*

*Спросит ли ветер
Тучу, о чём поплакать
Хотела? Дела нет
Никому на свете
До моего удела.*

Заставу пересекли, когда сумерки уже сгустились. Я где-то слышала, что после долгого пути следует входить в столицу в тёмное время суток, то ли чтобы скрыть беспорядок в одежде и следы усталости, то ли ещё почему. Так или иначе, до дома мы добрались, когда было совсем темно. Слуги, сопровождавшие нас, разгружали повозки, а я почти сразу заснула. Проснувшись очень рано, видела, как они собираются в обратный путь. Передала с ними письма. Поболтала с Сануки, тогда и не подозревала о её коварстве, она по секрету рассказала, что хочет сегодня встретиться со своим другом. Если бы я не напросилась с Харинэдзуми на рынок, может быть, ничего и не случилось бы. Соседские слуги рассказали, что видели, как Сануки помогала двоим мужчинам грузить вещи в повозку, иначе бы я ни за что не догадалась, что она в этом замешана.

В Наре, в доме мачехи¹, мне не хватало уединения. Младшие сёстры, гости, многочисленные слуги... Дом моей матери меньше. Сейчас здесь очень тихо. Слышен звон какого-то насекомого, но не цикады.

Сад хорош, но, как и дом, в некотором запустении.

Конечно, до состояния, которое нравится Сэй-Сёнагон, ещё далеко – и ограда-хигаки² цела, и даже небольшой пруд почти не зарос³. Кто же ухаживал за ним всё это время? Надо спросить у Харинэдзуми. Пока со мной только она, но когда отец отправится из Нары в провинцию, кто-нибудь из слуг переедет сюда.

¹ Поскольку наследство в то время передавалось по женской линии, то дом и другое имущество переходило к дочери. Муж обычно переезжал в дом жены и её родителей. Именно поэтому говорится о доме мачехи, а не о доме отца.

² Хигаки – решетчатая ограда из тонких планок кипарисовика.

³ Отсыл к главе «Мне нравится, если дом, где женщина живет в одиночестве...» из «Записок у изголовья»: «Мне нравится, если дом, где женщина живёт в одиночестве, имеет ветхий заброшенный вид. Пусть обвалится ограда. Пусть водяные травы заглушат пруд, сад зарастёт полынью, а сквозь песок на дорожках пробьются зелёные стебли...» (перевод В. Н. Марковой).

* * *

Странно, раньше я думала, как замечательно жить отшельницей в горной хижине. Но чтобы меня иногда посещал Тот, о ком я писала в дневнике. В остальное время я бы читала, сочиняла стихи, любовалась природой... Или писала дзуйхицу¹ в стиле Сэй-Сёнагон. Ещё мне хочется попробовать написать какое-нибудь повествование. Как «Повесть о прекрасной Отикубо».

С сегодняшнего утра стала сомневаться, так ли мне подходит одинокая жизнь. С удовольствием бы с кем-нибудь поболтала. Но в столице я знаю только двух человек – Харинэдзуми, не слишком разговорчивую, и старшего брата, которого не видела с прошлого года. Но когда мы встретимся с ним? И вообще, много ли в этой жизни зависит от наших желаний? От моих не зависит ничего. У меня и выбор был небольшой – столица, где была возможность оказаться в Императорском дворце, или провинция, куда получил назначение отец. И то и другое было мне не по душе, потому что в Наре оставался Тот, о ком я писала в дневнике. Свидимся ли когда-нибудь?

* * *

Когда весной отец с мачехой обсуждали моё будущее, Тот, о ком я писала в дневнике, ещё не занимал мои мысли. Я даже не возражала поехать с семьёй в провинцию. Было бы интересно посмотреть на то море, которое описывалось в «Тоса никки»². Я никогда не видела моря. Конечно, штормы и пираты немного пугают. Но Сэй-Сёнагон говорила, что каждая девушка должна побывать во дворце³. И то, что, благодаря мачехе, может выпасть такая возможность, на какое-то время обрадовало меня. А потом появился Тот, о ком я стала писать в дневнике, и мне расхотелось покидать Нару. Перечитала Сэй-Сёнагон ещё раз, показалось, что при дворе не так уж и весело. Особенно в главе про уход канцлера⁴. Сказала об этом мачехе, добавив, что неразумно желать должности, а потом томиться скукой. Она сначала рассердилась, а потом рассмеялась. «При дворе таких, как Тот, о ком ты пишешь в дневнике...⁵», – сказала она, назвав его по имени, и вздохнула: «В колодце лягушка бедная живёт, о морях не ведая». Я даже не успела обидеться: не давал покоя вопрос, как мачеха догадалась, что все мои мысли – о Том, о ком пишу в дневнике.

¹ Дзуйхицу (дословно – «вслед за кистью») – своего рода эссе, литературный жанр в японской литературе, основоположницей которого можно считать Сэй-Сёнагон, в этом жанре написаны её «Записки у изголовья».

² «Тоса никки» – «Дневник путешествия из Тосы» – знаменитое художественное произведение X в. в жанре путевого дневника, написанного Ки-но Цураюки от имени женщины.

³ Отсыл к «Запискам у изголовья» Сэй-Сёнагон. «Какими ничтожными кажутся мне те женщины, которые, не мечтая о лучшем будущем, ревниво блюдут своё будничное семейное счастье! Я хотела бы, чтоб каждая девушка до замужества побывала во дворце и познакомилась с жизнью большого света! Пусть послужит хоть недолгое время в должности найси-но сукэ (низшая должность в штате дворцовых фрейлин)».

⁴ Видимо, имеется в виду глава 143 «После того как канцлер Мититакэ покинул наш мир...» «Записок у изголовья», где описывается враждебное отношение придворных дам к Сэй-Сёнагон, и глава 79 «То, что неразумно», «Женщина возгорелась желанием получить должность при дворе, и вот она томится скукой, служба тяготит её».

⁵ Мачеха, скорее всего, назвала имя юноши, но Юми передала это, следуя своей системе обозначения.

* * *

Сегодня очень жарко. Ни ветерка. Когда уезжала из Нары, было пасмурно, но это соответствовало моему настроению. А сейчас... Несколько раз выходила в сад. Только хиёдори¹ под хурмой навевал тоску своим воплями. Интересно, кто-нибудь поёт отвратительней этой птицы? Обычно они собираются шумными стайками, а этот один. Может, скучает без подруги или тоже изнывает от жары в ожидании ветра с предгорий.

Перечитала танку, написанную утром. А послать её некому. Написала другую.

*Некому танку
Послать. Лишь хиёдори
Мне спозаранку
В саду вторит и вторит –
Ветер зовёт с предгорий.*

Быстрее бы пришла Харинэдзуми. Странная особа. Не похожа ни на знатную даму, ни на прислугу. Но даже мачеха, немного гордящаяся своей принадлежностью к роду Тоо, не проявляла к ней пренебрежения. Харинэдзуми я назвала её про себя. Вообще-то её представили как госпожу...², сказав, что она была знакома с матушкой, после смерти которой опекала нас с братом до приезда отца. Я этого не помню, поскольку тогда мне было два года. Надо при встрече спросить у брата, всё-таки тогда ему было шесть. Интересно, а где Харинэдзуми раздобыла тот наряд и украшения взамен украденных Сануки? Их бы и мачеха одобрила. И ещё меня занимает вопрос: был ли отец женат одновременно³ на матушке и на мачехе, или брак с мачехой произошёл позднее. Когда я родилась, отец был направлен в Нару, а в Киото наведывался изредка, в основном по служебным делам. После смерти матери нас с братом привезли уже в дом мачехи. А через год родились мои сёстры-тройняшки⁴. Отец не раз шутя называл их «благоприятным знаком» и говорил, что повышение ранга он получил вместо ткани и риса.

* * *

Харинэдзуми вернулась поздно. Самое удивительное, что с ней прибыли тюки, в которых лежали наши украденные вещи. «Откуда? Как удалось их разыскать?» – приставала я к ней с вопросами. «Поговорила с людьми, вышла на Сануки. Вещи, конечно, не все, но большая часть». К сожалению, шкатулка, в которой хранились мои записи, была пуста. Стало грустно, и я спросила, накажут ли Сануки за воровство?

¹ Хиёдори – рыжеухий короткопалый бюльбюль (*Hypsipetes amaurotis*). В Японии одна из самых обычных птиц, чьё пение не слишком привлекательно.

² **В рукописи имя неразборчиво.**

³ В эпоху Хэйан многоженство среди аристократов не считалось предосудительным. См. «О сватовстве и замужестве в эпоху Хэйан» Т. Л. Соколовой-Делюсиной.

⁴ Рождение троих и более детей считалось одним из благоприятных знаков для страны и императора, которому сообщали об этом факте. Таким семьям оказывали помощь: выдавали шёлк, полотно, вату, рис, приставляли кормилицу.

«Не стоит осуждать Сануки, она неплохая девушка. Это любовь к другу заставляла помогать ему».

Подумала: «А если бы мне Тот, о ком писала в дневнике, предложил обворовать кого-нибудь, стала бы я ему помогать?» Возмущённо сказала, что Сануки должна была остановить любимого.

«Я сама была женой предводителя разбойничьей шайки», – ответила Харинэдзуми. Если бы она сказала, что по ночам превращается в лису, я бы удивилась меньше. Но проявить свои чувства мне показалось неуместным. Оказывается, когда Харинэдзуми было семнадцать, в их районе случился пожар, тогда погибла воспитывавшая её тётя по отцу. Харинэдзуми не помнила подробностей, но до сих пор на руке остаются ужасные шрамы от ожогов, которые она заматывает тканью. Хорошо, что лицо не пострадало.

Матушка подобрала её, привезла в свой дом, выхаживала несколько недель, пока к Харинэдзуми не вернулась память. Друг, который собирался переехать в её дом¹, перестал с ней встречаться. Жить негде, рука изуродована, на душе пусто и черно. А когда встретила человека, который, несмотря на всё это, захотел сделать Харинэдзуми своей женой, ей стало всё равно, кто он и чем занимается.

«Так что прости Сануки», – сказала Харинэдзуми. «Да я о ней и не думаю. Дальше что было?» – «Не буду рассказывать всего, не время, а вот что касается твоей матушки, поведать надо. Она спасла меня ещё раз».

Года три в разных провинциях промышляла наша шайка. Что в ней есть женщина, было известно. Но когда случилась облава, я уезжала, поэтому меня не захватили со всеми. Скрываясь в лесах, я добралась до окрестностей монастыря на горе Такао², куда по счастливой случайности направлялась твоя матушка. Вот тут на меня и вышли. Уверенности, что я состояла в шайке, не было, но подозрения возникли. Богиня Каннон³, не иначе, послала твою матушку. Она сказала, что я – её потерявшаяся служанка, отправленная заранее в монастырь, чтобы договориться о приёме. «Где повозка? Где возничий? Где вещи?» – строго спросила она. – Почему ты в таком виде?» И уже мягко: «На тебя, видно, напали разбойники?» Это звучало очень убедительно. Я в изумлении только кивала. Но всё-таки человек, схвативший меня, спросил: «Госпожа, а это точно ваша служанка? Мы думали, что она из шайки. Почему она не сказала, куда направляется?» – «Она насмерть перепугана. Сначала разбойники, потом вы. Подними рукав, и ты увидишь след от ожога, который она получила при пожаре в моём доме». Обнаружив над запястьем начало шрама, страж отпустил меня. Так что твоя матушка спасла меня дважды. Она была очень доброй и сообразительной».

Что происходило дальше, как я ни упрашивала, Харинэдзуми рассказывать не стала, сославшись на поздний час.

Спать под одной крышей с женой разбойника ещё недавно бы показалось мне невыносимым. А сейчас, кроме любопытства, ничего не ощущаю.

¹ Т. е. собиравшийся жениться.

² Речь идёт о горе Такао в окрестностях Киото, где до сих пор стоит храм Кодзан, построенный в VIII в., а не о горе Такао, расположенной в 50 км от Токио.

³ Каннон – богиня милосердия в японской буддийской мифологии.

* * *

Вчера долго не могла заснуть, но не из-за страха, а из-за раздумий: о Сануки, о матушке, о Харинэдзуми. И хотя я продолжаю про себя называть её так, но ничего обидного в это уже не вкладываю. Попробовала посчитать, сколько ей лет. Наверное, около сорока. Сколько ещё тайн в её жизни? Даже того, что я услышала вчера, хватило бы на целую повесть. А мне вот не о чем писать – всё так обычно.

Надо расспросить Харинэдзуми о её жизни и написать повествование.

Наконец-то из Нары приехали две повозки с вещами. Их сопровождали Уэкия с женой. Они будут помогать Харинэдзуми по хозяйству. Мачеха уложила мои вещи, довольно много книг из своей библиотеки, добавила бумагу, тушь и кисти очень хорошего качества. А как мне понравилась яшмовая тушечница! Кроме того, в повозках были шёлк, полотно из конопли, рис, сушёные морские ушки-аваби¹, посылка для брата. Уэкия передал мне письма от отца, сестёр и мачехи. Там были пожелания всех благ. Мачеха просила не огорчаться: я ещё попаду во дворец, ну и чтобы не забывала упражняться в игре на кото.

Когда писала ответ, спросила, а надо ли сообщать о Сануки? Харинэдзуми ответила, что не стоит огорчать домашних перед отъездом, к тому же, почти всё возвращено назад. В глубине души я надеялась, что Тот, о ком я писала в дневнике, пришлёт хотя бы коротенькую весточку. Но...

Довольно долго раскладывали по своим местам прибывшие вещи. Я помогала.

Когда мы сели есть во второй раз², было уже поздно. Аваби оказались очень вкусными. «Не иначе как из провинции Оки³», – предположила Харинэдзуми.

К ней Уэкия и его жена обращаются «Госпожа», а ко мне «Химэгими»⁴.

* * *

За целый день ни разу не взялась за кисть. Читала «Дневник кагэро». Стало грустно. Митицуна-но хаха⁵, конечно, была очень талантливой. И при этом не очень счастливой. Раздумывая над её жизнью, вышла в сад. Увидев запутавшуюся в паутине бабочку-подёнку, чуть не заплакала – её жизнь и так коротка... Может, если бы я только что не прочитала «Дневник кагэро», было бы не так грустно. Чтобы как-то утешиться, взяла кисть.

¹ Аваби, морские ушки (*Haliotis gigantea*) – род брюхоногих моллюсков, формой напоминающих ухо.

² В эпоху Хэйан даже аристократы обычно ели только дважды в день.

³ Провинция Оки – историческая провинция Японии на западе острова Хонсю. Соответствует островам Оки, которые принадлежат современной префектуре Симане. Считалось, что там самые вкусные аваби.

⁴ Химэгими – почтительное обращение к знатной девушке.

⁵ Митицуна-но хаха (ок. 936–995), т. е. мать Митицуны, также известная как Томоясу-но Мусумэ, т. е. дочь Томоясу – причисляется к 36 лучшим поэтам эпохи Хэйан, автор «Кагэро никки». См. «Дневник эфемерной жизни» (перевод В. Горегляда). Кагэро – бабочка-подёнка (*Ephemeroptera*), живущая один день, символизировала быстротечность, мимолётность, эфемерность и чувств, и жизни. По-японски «кагэро» омонимично понятию «струящийся от жары воздух». Опадающие лепестки цветов, особенно пионов, согласно буддистским воззрениям, тоже символ того, что бытие преходяще и непрочно.

*Когда в струящемся от жары воздухе до меня донёсся запах
опадавших пионов, написала...*

*В мареве плотном
Аромат мимолётный...
Крылышком тонким
Зацепилась подёнка
И затихла в тенётах.*

На самом деле пионы ещё не начали опадать, но, ощущая, что это неизбежно случится, написала котобагаки¹. Хочу попросить Харинэдзуми поехать в какой-нибудь храм. Например, в тот, что на горе Такао. Далеко ли он? Впервые подумала: я и не знаю, как существовать в этом мире – покупать наряды и еду, готовить пищу, ездить в храм...

Встав утром, семь раз произнесла имя звезды, под которой родилась. Посмотрела на себя в зеркало, привела в порядок зубы, помыла руки, произнесла имя Будды, глядя на запад, и назвала святилище Касуга². Всё, как советовал Правый министр³ Кудзё⁴. Теперь села записывать, что произошло вчера.

Перебирая книги, присланные мачехой, нашла «Наставления Правого министра Кудзё». Не могу сказать, что читать было просто. В общем-то, многое в них мне ни к чему, например, что занимающие высокую должность обязаны вдохновлять подчинённых или что помощники глав охранных управлений должны на дежурство являться заранее. Но вот слова: «Люди ленивые, даже если они талантливы и добродетельны, не могут быть взяты на службу. Продвижения по службе заслуживает тот, кто, хоть и не отличается особой мудростью, но работает с усердием⁵» – заставили задуматься. Не мне сомневаться в правоте слов самого Правого министра, но размышлять же над ними можно. Потом перечитаю внимательнее.

Особенно заинтересовали дни омовения. Оказывается, если совершать его в одиннадцатый день месяца, то станешь умной. А вот если в восемнадцатый, то можешь быть обворованной... Возможно, я совершала омовение в восемнадцатый день прошлого месяца? Но главное, не совершать омовения в день Быка⁶ – можно потерять обаяние.

¹ Котобагаки – краткое прозаическое вступление, поясняющее место и обстоятельства написания стихотворения. В данном случае: *Когда в струящемся от жары воздухе до меня донёсся запах опадавших пионов, написала...*

² Касуга – синтоистское святилище в Наре, построено в 768 г.

³ Правый министр (удайдзин) – должность чиновника высокого ранга, выше были только Левый (садайдзин) и Главный (дайдзёдайдзин) министры.

⁴ Речь идёт о «Наставлениях Правого министра Кудзё», написанных Фудзивара-но Моросукэ (908–960), впоследствии ставшим Главным министром. Усадьба автора «Наставлений» была расположена в Киото на девятой улице (яп. Кудзё), чем и объясняется имя «Кудзё». Всё перечисленное рекомендовано им в «Наставлениях».

⁵ Цитата из «Наставлений Правого министра Кудзё». (Есть перевод на русский язык А.С. Бачурина.)

⁶ По традиции, пришедшей в Японию из Китая, не только каждому часу и году соответствовало определённое животное, но и дни, сгруппированные по семь, имели такие же названия. Но поскольку количество животных 12, то на некоторые из дней приходилось более одного животного.

Ещё я вчера вспоминала, что произошло за последнее время.

В 1-й день приехали в Хэйанкё. Был уже поздний вечер.

Во 2-й день ходила на рынок. Тогда же Сануки и ограбила нас.

В 3-й день всё время была дома, очень переживала. Под вечер Харинэдзуми принесла мне новый наряд и украшения, а также бумагу, кисти и тушь. Но в тот день я ничего не записала.

В 4-й день готовились к поездке во дворец. Начала дневник.

В 5-й день, узнав об отмене поездки, с утра до вечера думала и писала дневник.

В 6-й день Харинэдзуми вернулась с украденными вещами.

В 7-й день приехали повозки из Нары.

В 8-й день читала «Кагэро никки».

В 9-й день читала «Наставления Правого министра Кудзё».

Сегодня 10-й день, как мы приехали.

Ещё вчера, когда стемнело, немного поиграла на кото. Думаю, что и мачеха, и господин Правый министр меня бы одобрили. Хотя бы за усердие.

* * *

После завтрака я стала просить Харинэдзуми взять меня с собой. Теперь-то дом под охраной Уэкии и его жены. Харинэдзуми рассмеялась и сказала, что после ограбления она договорилась со слугами из соседнего дома, чтобы они приглядывали за нашим. Так что я была в безопасности во время её частых отлучек. Если я оденусь поскромнее, во что-нибудь из конопляной¹ ткани, то сегодня она меня возьмёт с собой. Наконец-то я увижу Хэйанкё!

* * *

Даже не знаю, с чего начать – описать впечатление то ли от Хэйанкё, то ли от людей, которых сегодня видела. Не могу сказать, что город потряс меня, но Харинэдзуми утверждает, что я ещё не видела ни самого прекрасного, ни самого ужасного. Мы ходили к северу от Четвёртой линии Восточной половины. Во-первых, Харинэдзуми показала мне свой домик, я и не знала, что он у неё есть. Оказалось, что участок, где когда-то стоял её сгоревший дом, она продала и купила этот. Район, как она сказала, по сравнению с нашим не такой представительный, люди здесь живут не богатые и не бедные, и что я всегда смогу найти тут пристанище. Не очень поняла, что Харинэдзуми имела в виду, тем более что отыскать этот дом всё равно не смогу – дорогу не запомнила. Сад живописный. Начали желтеть плоды на деревьях бивы².

¹ Конопля издавна использовалась в Японии для изготовления пряжи и ткани. Волокно конопли длинное, грубоватое, но очень прочное и не подвергается гниению во влажном климате, хорошо впитывает пот. К XI в. одежду из такой ткани носили простые люди, хотя аристократы тоже облачались в неё дома или во время траура.

² Бива – 1) мушмула (*Eriobotrya japonica*) – небольшое вечнозелёное дерево с жёсткими зубчатыми листьями. Цветёт осенью, жёлтые съедобные плоды появляются весной; 2) музыкальный инструмент, напоминающий лютню. Форма резонатора имеет сходство с плодами некоторых сортов мушмулы.

Не знаю, почему Сэй-Сёнагон не удостоила вниманием такое изысканное сочетание оттенков зелёного и жёлтого, конечно, не из-за невзрачности цветов, поскольку у неё есть глава о деревьях, прославленных не за красоту своих цветов¹. Почему-то в нашем саду бива не посажена, хорошо бы посадить, очень уж красивые листья, да и плоды вкусные. Сказала об этом Харинэдзуми, она согласилась, добавив, что листья к тому же целебные. Ещё она нашла несколько почти поспевших плодов и дала мне. Я их съела, а косточки спрятала. Харинэдзуми предлагала подождать в доме, пока она сходит по делам, но я, хотя и было интересно, что внутри, попросилась пойти с ней.

Всю дорогу размышляла над тем, до чего слова, звучащие одинаково, но означающие разные вещи, интересно обыгрывать в стихах. Например, «бива» – и растение, и музыкальный инструмент. Хотя, возможно, сходство звучания и произошло из-за сходства формы, поэтому обыгрывать будет не так и занятно. Другое дело «мацу» или «кику»². Но это столько раз обыгрывалось до меня. В результате раздумий опять не обращала внимания на дорогу.

Домик, к которому подошли, был очень маленьким. Хозяин, совсем седой старичок, приветствовал Харинэдзуми и отдал ей две куклы-кугуцу³, совершенно замечательные на первый взгляд. Очень хотелось внимательней рассмотреть их, подержать в руках, но Харинэдзуми тут же спрятала куклы, спросив:

– Рисом или полотном?

– В этот раз рисом.

– Завтра тебе привезут два коку⁴. Да, я принесла обрезки шёлковой ткани, может, пригодятся.

Зачем куклы-кугуцу Харинэдзуми? Обещала рассказать. Я только дважды видела кукольные представления и то, когда была маленькой.

На сегодня всё, об остальном напишу завтра.

Когда я встала, Харинэдзуми уже ушла. Читаю о том, как женщины не спят ночи напролёт, ожидая своего любимого, причём тщетно, и всегда становится не по себе: я не могу не спать. И перед визитом во дворец заснула, и когда все мысли были о Том, о ком писала в дневнике, тоже спала, хотя несколько раз пыталась дожидаться утра – не получилось. Неужели для меня сон важнее переживаний? Или это оттого, что знала – ко мне никто не придёт? Или переживания были недостаточно глубоки? Горько признавать это.

Только хотела последовать наставлениям Правого министра Кудзё, но приехал Уэкия, оказывается, рано утром он отвозил рис Кукольнику и ещё кому-то, я не поняла, а привёз овощей, сушёную хурму и немного плодов бивы. А я вечером зарыла косточки около ограды, но никому не сказала.

¹ В «Записках у изголовья» есть главы о деревьях.

² Мацу по-японски означает «сосна» и «ждать»; кики – «хризантема» и «слышать, спрашивать». Эти омонимы часто использовались в стихосложении.

³ Кугуцу – куклы для кукольных представлений.

⁴ Коку – мера объёма, равная приблизительно 180 л, масса коку риса составляет около 150 кг. Некоторые исследователи считают, что в древности 1 коку составлял приблизительно 103,5 л, т. е. 86 кг риса.

* * *

Когда позавчера я села описывать произошедшее, вернувшись Харинэдзуми сказала, что мы отправимся в гости и надо как следует подготовиться. Приготовления заняли весь остаток дня – выбирали украшения, наряды, остановились на фудзи-гасанэ¹. Утром Харинэдзуми собственноручно помогала в них облачиться и подправляла мне брови. А сама потом вышла такая степенная, что в первое мгновение я её не узнала – настоящая знатная дама в наряде цвета листьев аира, с подкладкой цвета того ириса, у которого листочки-обёртки в основании красно-фиолетовые. Узкия с женой кланялись ей так, как не кланялись даже мачехе. Нас ждал экипаж, запряжённый не волами, а лошадьми. В щёлочку было мало что видно, заметила, что по обочинам растут ивы. Надо будет потом пройти пешком по Судзаку-оодзи².

Дом, около которого мы остановились, был великолепен, начиная от центральных ворот, покрытых красным³ лаком. А крылатые крыши⁴, действительно, как и говорил поэт⁵, «вторили горным вершинам, волнистым краям далёких лесов и раскидистым ветвям сосен». Водоёмы с островками и мостиками, ручеёк... А один пруд был в форме черепахи, но я это заметила не сразу. Чуть поодаль росла сосна, с веток которой ниспадали кисти глицинии. Проходя мимо, порадовалась, как мы с Харинэдзуми удачно выбрали наряды – они просто были созданы для этого сада.

* * *

Когда много впечатлений, трудно излагать последовательно. По старым записям заметила, что записываю далеко не всё, что собиралась. И вот сейчас не знаю, на чём остановиться. На хозяйке – госпоже Нагиса-но мусумэ (сначала подумала, что она совсем молодая, а оказалось, что ей уже двадцать шесть)? На решётчатых ставнях, которые могли открываться как вверх, так и вниз? На китайских ширмах, расписанных танцующими птицами, надписи на которых я не могла разобрать? На трёх видах каси⁶, которые подали в первую очередь?⁷ На тарелочках удивительной красоты? На карасях из Оми⁸ с маринованными

¹ Фудзи – глициния обильноцветущая (*Wisteria floribunda*), фудзи-гасанэ – сочетание цветов в женском наряде, который носили весной и летом – лиловое на светло-зелёной подкладке или тёмно-лиловое на сиреневой подкладке.

² Судзаку-оодзи (большая дорога Красной птицы) – главная улица Киото, шириной около 84 м, Судзаку – мифологическая Красная птица, образ которой пришёл в Японию из Китая.

³ Красный цвет ворот был разрешён только высокопоставленным чиновникам как знак особого положения владельца усадьбы при дворе.

⁴ Крылатые крыши – распространённая форма кровли в Китае, Корее и Японии, подобные образы в японской поэзии были нередки.

⁵ **Имя поэта, стихотворение которого цитируется, в рукописи написано неразборчиво.**

⁶ Каси – общее название японских сладостей.

⁷ **В официальном своде правил внутриворцового распорядка «Кимписё» говорится, что «начинать трапезничать необходимо с каси».**

⁸ Оми – историческая провинция к северо-востоку от Киото, на территории которой расположено самое большое пресноводное озеро Японии Бива. Озеро Бива тоже носило название Оми.

овощами, которыми нас потчевали в Идзумидоно¹, где из-под пола бил ключ? Удивительный дом.

* * *

Потом госпожа Нагиса-но мусумэ велела привести свою маленькую дочку лет четырёх и спросила, не хочет ли Харинэдзуми за очень хорошую плату заняться её образованием. Но Харинэдзуми, к моей радости, отказалась, сказав, что у неё уже есть воспитанница. Госпожа Нагиса-но мусумэ поинтересовалась, кто учил меня. Я ответила, что родственница мачехи госпожа Годзи-сикибу², какое-то время жившая с нами в Наре, а после замужества уехавшая в провинцию. До переезда в дом мачехи она служила при дворе в свите одной из принцесс, наверное, поэтому смотрела на всех чуть-чуть свысока. Не знаю, занималась ли она со мной от скуки или это вменялось ей в обязанность, скорее второе. Но об этом я не стала говорить. Читать и писать, растирать тушь, играть на кото и составлять ароматы меня научила именно госпожа Годзи-сикибу. «Манъёсю» и «Кокинсю»³, «Повесть о прекрасной Отикубо» и «Записки у изголовья» я прочитала по её совету. Она редко хвалила меня и часто ругала. Госпожа Годзи-сикибу даже знала китайские иероглифы, но мне они давались не очень хорошо. Позднее я часто спрашивала брата, как читается тот или иной знак. Ещё у госпожи Годзи-сикибу я научилась рисовать бамбук и ирисы. А как шить, мне показывала служанка мачехи, но мастерства прекрасной Отикубо достичь не удалось⁴.

* * *

Когда мне предложили вместе с девочкой посмотреть сад, я поняла, что Харинэдзуми и госпожа Нагиса-но мусумэ хотят о чём-то поговорить. Около деревца мышиные колобки⁵ мы остановились. Там, среди листьев – тёмно-зелёных сверху и сизо-желтоватых внизу – я увидела паучка, спускавшегося по сплетённой паутине⁶. Стало грустно, даже не потому, что, вопреки примете, никакой встречи не могло произойти. Я ощутила в душе какую-то спокойную пустоту, как будто Тот, о ком я писала в дневнике, был не реально существующим человеком, а тем, о котором я читала или слышала. Странное чувство, когда перестаёшь страдать от разлуки.

¹ Идзумидоно – павильон или беседка над водоёмом, в жаркие дни там принимали гостей.

² Сикибу – должность в церемониальном ведомстве, которую, скорее всего, занимал отец или муж этой женщины. В эпоху Хэйан женщин чаще всего называли по званию или должности кого-то из близких родственников мужского пола.

³ «Манъёсю» и «Кокинсю» (Кокинвакасю) – антологии японской лирической поэзии, составленные по приказу императоров соответственно в 759 и 922 г.

⁴ Прекрасная Отикубо «не знала себе равных в мастерстве шитья», чем вызывала восхищение окружающих.

⁵ Мышинные колобки (бирючина, *Ligustrum japonicum*) – вечнозелёное деревце, называемое так из-за чёрных плодов, схожих по форме с мышинным помётом.

⁶ Считалось, что спускающийся паучок предвещает встречу с возлюбленным.

* * *

Вечером я спросила, откуда Харинэдзуми знает госпожу Нагиса-но мусумэ. Оказывается, когда-то она была кем-то вроде её наставницы – учила чтению, письму, танцам, игре на кото. Мне было любопытно, где сама Харинэдзуми научилась всему этому.

«Видишь ли, мои мать и бабушка были танцовщицами, они обучались в Найкё-бо¹, а отец и дед – переписчиками. Поэтому я умею танцевать, знаю каллиграфию, ну и много других вещей, которые связаны с этим. Когда мне было десять лет, умерла мать, тогда тётя – старшая сестра отца – переехала в наш дом, она одно время была монахиней, и мы нередко переписывали с ней сутры. После смерти отца я поступила в дом дайнагона², и эта пара лет тоже не прошла даром. Потом злополучный пожар... А ещё до замужества твоей матушки, вскоре после того как она вторично спасла меня, я поехала в монастырь и на переправе познакомилась с женщиной, которой для увеселения возвращавшихся паломников нужны были девушки-асоби³. Сказала, что они неплохо зарабатывают своим искусством и нередко устраивают свою судьбу, находя мужей. Я отказалась, поскольку на тот момент у меня были средства – муж не скрывал, где прятал добычу. Продав старый участок, купила новый домик, а о замужестве мыслей не было, ещё надеялась, что мой муж жив и вернётся. Да и твоя матушка, на мой взгляд, нуждалась в опеке: несмотря на сообразительность, она из-за своей доброты была немного простодушной. Чуть позднее твой отец (он, как ты знаешь, из хорошего, хотя не очень богатого рода) стал посещать её дом. Я даже передавала их письма друг другу. Когда они поженились, я решила, что могу спокойно оставить их, и поехала на переправу.

Через пять лет, когда родилась ты, твоего отца направили на выгодную должность в Нару. Матушка не могла поехать с ним, всё время болела. К тому времени я познакомилась с бродячими кукольниками и стала участвовать в представлениях, это было интересно и приносило неплохой доход. Мы переезжали с места на место, дело было поставлено хорошо. Узнав о болезни твоей матушки, я поспешила к ней из Овадо-но Томари⁴, где в то время мы давали представления. К несчастью, она так и не поправилась. Тебе было тогда года два, а старшему брату шесть лет. До приезда твоего отца я оставалась с вами. Через несколько месяцев он забрал вас в дом новой жены, поручив приглядывать за этим жилищем. Периодически я справлялась о вас, а когда возникла необходимость присматривать за тобой на первых порах, твой отец обратился ко мне. А Нагиса-но мусумэ – дочь той женщины с переправы».

¹ Найкёбо – место в императорском дворце, где обучали исполнителей придворных ритуальных танцев и песен.

² Дайнагон – старший императорский советник. Очень высокая должность в Высшем Государственном Совете.

³ Асоби – буквально «развлечение». Девушки-асоби устраивали представления, развлекающая путешественников на морских и речных пристанях. Эти развлечения не подразумевали интимных услуг, хотя они могли предоставляться. С нашей точки зрения, девушки-асоби больше походили на актрис, чем на жриц любви.

⁴ Овада-но-Томари – старое название порта на территории нынешнего города Кобэ, был важным транспортным и торговым пунктом на пути в Киото. Упоминание о кукольниках из Нисиномии, близ Кобэ содержится в письменных источниках XI в.

После рассказа Харинэдзуми у меня появилось ещё больше вопросов, но она сказала, что на сегодня хватит.

Забыла написать, что госпожа Нагиса-но мусумэ подарила мне свой дивный веер с пионами, сказав, что этому времени года он уже не соответствует. Не стала ей возражать, но, по-моему, красота не зависит от сезона.

Конечно, я не раз читала, как богатый знатный юноша женился на бедной девушке, но чтобы в жизни такое произошло, не слышала. С утра пыталась придумать, каким образом дочь женщины с переправы стала женой высокопоставленного человека? Хорошо бы разузнать у Харинэдзуми подробности и написать повесть. Чем госпожа Нагиса-но мусумэ покорила его сердце? Красотой? Талантами? Где они встретились?

Харинэдзуми ответила, что всё довольно просто. Мать госпожи Нагиса-но мусумэ, несмотря на незнатное происхождение, была достаточно умна, чтобы стать богатой, но недостаточно умна, чтобы понять, что не в богатстве счастье. Через переправу на одной из пристаней реки Ёдо¹ к западу от столицы идёт дорога в монастырь. Направляясь туда, паломники дают обет воздержания, а возвращаясь обратно, не прочь хорошо поесть, выпить и развлечься, иногда задерживаясь на несколько дней. Среди паломников встречаются придворные чиновники, аристократы из провинции, солидные люди и молодые шалопаи из знатных родов, конечно, их слуги, а также крестьяне, торговцы, ремесленники, актёры, преступники – кого только нет. Девушки-асоби устраивают для них представления на лодках. Красиво одетые, они поют, танцуют, играют на кото и барабанах. Но поодиночке это занятие опасно и не так уж выгодно, поэтому они объединяются в группы под руководством Старшей. Мать госпожи Нагиса-но мусумэ и была такой Старшей. Она родилась в крестьянской хижине, но, по словам Харинэдзуми, обладала изяществом и острым умом. Так вот, разбогатев, Старшая устроила брак² своей дочери с господином из рода Ки. Вся роскошь их дома и сам дом приобретены на доходы Старшей.

«Богатая девушка, отданная замуж за знатного человека, не совсем сказочный сюжет», – подумалось мне.

С нетерпением жду завтрашнего дня – должен прийти брат. Он обучается в дайгаку³ уже четвёртый год. Хотя ни отец, ни дедушка не дослужились до 5 ранга⁴, но после хлопот мачехи, в виде исключения, брат получил возможность

¹ Ёдо – река, вытекающая из южной части озера Бива, впадающая в Осацкий залив.

² Упоминание о брачных отношениях между придворными чиновниками и «деятельными» женщинами незнатного происхождения, есть, например, в «Уцухо моногатари» (Повесть о дупле), где министр Такамото вступил в брак с «богатой женщиной» по имени Токумати.

³ Дайгаку – высшая школа, аналог современного университета. Обучение продолжалось девять лет. Принимались юноши в возрасте 13–16 лет.

⁴ Система придворных рангов была введена ещё в 603 г. Первый был высшим. В эпоху Хэйан ранги подразделялись на различные ступени, в сочетании дававшие 30 градаций. Приём в дайгаку детей, родители которых не принадлежали к придворной знати (т. е. были шестого ранга и ниже), производился в виде исключения.

учиться. Помню, что господин Учитель в Нарэ ещё пять лет назад рекомендовал брату заниматься математикой. Тогда мачеха пожала плечами:

– Не знаю никого, кому бы математика помогла достичь высокого положения и богатства. Вот китайская классика – другое дело.

– Ну, китайское стихотворение сумеет написать каждый – хуже или лучше, но сумеет; прочесть тексты мудрецов тоже. К тому же давно не зазорно писать стихи на японском. А вот стать Главным министром китайский язык всё равно не поможет.

Было видно, что мачехе не понравилась эта фраза господина Учителя. А он продолжил:

– При составлении календарей, подсчёте налогов, для постройки храмов нужны не стихи Бо Цзюйи¹, а математика. Её знатоков немного, а у мальчика есть способности и интерес. Да и если следовать китайским авторитетам, то Конфуций² не брал себе учеников, не разбирающихся в математике.

– Как говорят, и Конфуций спотыкается, – заметила мачеха, вспомнив поговорку. Но, видимо, слова господина Учителя её убедили, потому что на следующий год брат стал учиться на математическом отделении дайгаку.

Кто такой Конфуций, я спросила потом у госпожи Годзи-сикибу.

– Знаменитый китайский мудрец, – ответила она. – Он жил много столетий назад, но до сих пор им продолжают восхищаться.

Я захотела узнать подробнее, но госпожа Годзи-сикибу сказала, что женщинам это совсем не нужно.

* * *

Оказывается, брат помнит Харинэдзуми не только по детству, даже называет её Тётушкой. В столице она нередко навещала его, приносила еду (в дайгаку не слишком сытно кормят), одежду и другие необходимые вещи. Часто и однодневный отпуск³ брат проводил в её доме и только на время длинных отпусков отправлялся в Нару.

Ехать ли к отцу в это лето, брат ещё не знает. Преподаватель, довольный его успехами, предложил поучаствовать в строительстве нового храма. Это может пригодиться в будущем, да и небольшое содержание тоже не станет лишним. Надо подождать, что напишет отец.

Брат показал рукопись с отрывками из трактата «Цзючжан»⁴, которую ему хотелось дочитать.

¹ Бо Цзюйи (772–846) – китайский поэт, стихи которого были популярны среди аристократов эпохи Хэйан.

² Конфуций (ок. 551 г. до н. э. – 479 г. до н. э.) – древнекитайский мыслитель, основоположник учения, принципы которого получили в Японии к эпохе Хэйан широкое распространение.

³ Дайгаку функционировал как интернат закрытого типа. Каждую декаду студенту предоставлялся однодневный отпуск, а в 5 и 9 луны (примерно середина июня и октября) – отпуска для поездки домой.

⁴ Цзючжан («Математика в девяти книгах») – математический трактат, написанный в Китае во времена ранней Ханьской династии (206 г. до н. э. – 7 г. н. э.). В течение многих столетий по нему велось обучение инженеров, астрономов, землемеров, чиновников различных ведомств не только в Китае, но и в Японии. В дайгаку студент-математик, проваливший «Цзючжан», даже если он справился с другими вопросами, считался не выдержавшим экзамен.

«У подножия дерева растёт лиана кудзу¹, обвиваясь вокруг ствола семью витками до самой вершины»². Нужно найти длину лианы. Там же было решение, но я ничего не поняла. Как находить – написано, но почему именно так?

* * *

Не писала четыре дня, не было возможности. Харинэдзуми договорилась с госпожой Нагиса-но мусумэ о совместном паломничестве в монастырь на горе Такао. Хотя мы и не попали, куда собирались, впечатления остались непередаваемыми. Ранним утром за нами приехали экипажи госпожи Нагиса-но мусумэ, с ней было трое сопровождающих – двое мужчин для охраны и служанка. С нами поехала жена Уэкии. Все были одеты просто, как и принято ездить в монастыри. Думается, это правильно, хотя Сэй-Сёнагон, как мне показалось, с этим не согласна³. К концу первого дня остановились в придорожном доме, куда после нас приехали другие паломники. Утром следующего дня мы выехали вместе, но, не доехав часть пути, один из наших экипажей сломался. Тогда Харинэдзуми предложила не ждать, когда его починят, а отправиться в другой монастырь – он совсем рядом. Все согласились. Мы долго-долго спускались по тропинке в ущелье, а потом ещё дальше поднимались по многочисленным ступеням. Но это того стоило. Монастыри и святилища, находящиеся в окрестностях города, тоже производят впечатление, но оно не идёт ни в какое сравнение с впечатлением от отдалённых мест. Даже бывая в Тодайдзи⁴, я скорее испытывала изумление, нежели благоговение.

Когда мы вернулись назад, экипаж уже починили. Харинэдзуми потихоньку показала, где спасла её моя матушка, и пообещала, что когда-нибудь мы всё-таки посетим монастырь на горе Такао, до которого совсем недалеко. Хотя до придорожного дома было чуть больше часа езды, все достали вариго⁵. Пока ели, мимо нас проходила монахиня. Харинэдзуми отдала ей часть еды.

– Монахиням запрещено просить подаяния после полудня⁶, – заметила Нагиса-но мусумэ.

¹ Кудзу – пуэрария (*Pueraria lobata*) – травянистая лиана.

² **Задача №5 из девятой главы «Цзючжан».**

³ Видимо, имеются в виду слова из главы «То, что глубоко трогает сердце» «Записок у изголовья»:

«...знатнейшие люди, совершая паломничество, надевают на себя старую, потрепанную одежду. И лишь Нобутака, второй начальник Правого отряда личной гвардии, был другого мнения:

– Глупый обычай! Почему бы не нарядиться достойным образом, отправляясь в святые места? Да разве божество, обитающее на горе Митакэ, повелело: «Являйтесь ко мне в скверных обносках?» (перевод В. Н. Марковой).

⁴ Тодайдзи – древний буддийский храм в Наре, построенный в середине VIII в., считается самым большим деревянным сооружением в мире. Там находится статуя Будды, почти 15-метровой высоты, весом 500 т. Храм Тодай страдал от пожаров и землетрясений, неоднократно реставрировался, но сохранился, хотя и со значительными перестройками (в масштабе 2:3 по отношению к первоначальному) в настоящее время.

⁵ Вариго – дорожные деревянные коробочки для еды, разделённые перегородками.

⁶ Считалось, что буддийские монахи должны принимать пищу один раз в день, а просить подаяние им разрешалось только до полудня.

– Но подавать-то не запрещено, – рассмеялась Харинэдзуми.

Мне пришла мысль: а не стать ли когда-нибудь монахиней. Сказала об этом Харинэдзуми, но госпожа Нагиса-но мусумэ услышала.

– Если ты хочешь нырять за жемчугом¹, лучше начать сейчас, а не ждать старости.

Мне эта шутка показалась неуместной, говорила-то я серьёзно.

* * *

На другой день с утра мы двинулись в Киото. Всю дорогу размышляла о перерождении. Не знаю никого, кто бы помнил, кем он был в прошлой жизни. В одной книге читала, что некий человек переродился в теле сына китайского императора, причём, не забыв, кем он был раньше. К сожалению, прочитала только первую часть, хорошо бы найти продолжение². Харинэдзуми обещала отыскать. Но ни она, ни госпожа Нагиса-но мусумэ не помнили своей прошлой жизни.

Приехали поздним вечером. Уэкия хромал сильнее, чем обычно – у него перед дождём болят старые раны, которые он получил в провинции Муцу³ во время войны. Я вообще не знала о ней. Пояснив, что война началась незадолго до моего рождения и закончилась лет пять назад, Харинэдзуми пошла показывать жене Уэкии, как растирать больную ногу. И ещё сказала, что хорошо бы съездить на горячие источники.

Когда у Уэкии перестанет болеть нога, хочу поподробней расспросить его про войну.

А к полуночи началась гроза. Надо узнать у Харинэдзуми, почему перед непогодой болят старые раны.

Перевод с японского **Марии Похиалайнен**

(Окончание следует)

¹ Здесь игра слов. «Ама» по-японски означает и ныряльщицу, и буддийскую монахиню.

² Возможно, имеется в виду «Хамамацу моногатари» (см. «Повесть о втором советнике Хамамацу», перевод В. И. Сусаури) авторство иногда приписывается писательнице, известной как дочь Сугавара-но Такасуэ, чьей кисти принадлежит «Сарасина никки». В то время литературные произведения часто переписывались частями.

³ Муцу (первоначально называлась Митиноку) – провинция на северо-востоке Хонсю. Речь идёт о так называемой девятилетней войне, длившейся на самом деле двенадцать лет (1051–1062) – конфликте между родом Абэ, правителем провинции Муцу, и центральными властями. События этой войны описаны в «Муцу ваки» (см. «Сказание о земле Муцу», перевод В. А. Онищенко).

• **Мария Похиалайнен** – поэт, переводчик. Родилась в г. Сочи. Детство и юность прошли в геологическом посёлке на севере Камчатки и в Магадане. После окончания ДВГУ преподавала математику в школах Владивостока и подмосковного наукограда Троицка. Автор поэтических сборников «Неотправленные письма» (2006), «Не верьте клятвам, сестры» (2009), переводов стихов японской поэтессы Юми Каэдэ «Поведал странник» (2013). Лауреат конкурса «Литературное Подмосковье-2007».

ИЗЯШНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ №2 (36) • 2018
Литературно-художественный журнал

Учредитель *С. А. Склейнис*

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01360 от 27.05.2013 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Адрес редакции: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская, д. 22, лит. В.
Тел. (812) 404-63-08, +79213249184.
Почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская 20, корп. 3-12.
E-mail: skleynis@ou.ru
Сайт журнала: <http://neisri.narod.ru/is/index.htm>

Оформить подписку и приобрести отдельные номера журнала можно в редакции.
Заказ по электронной почте: E-mail: skleynis@ou.ru

•

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:
магазин «Порядок слов» (Набережная реки Фонтанки, 15)
книжный салон «У Ахматовой» (Литейный пр., 51)

•

Корректор *С. Вершинина*
Технический редактор *К. Новикова*
Компьютерная верстка *С. Ефимовой*
Фото на обложке *Е. Сапожникова*

•

Подписано в печать 15.01.2019 г. Гарнитура Букварная. Формат 70×100/16.
Усл-печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,81. Печать ризография. Тираж 300. Заказ 29. Цена свободная.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета:
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 552-77-17, 550-40-14.